АЛЕКСАНДР
ВОЛКОВ
Маргинал

Александр Волков

Маргинал

«Геликон Плюс»
2017

УДК 82.32.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Волков А. А.

Маргинал / А. А. Волков — «Геликон Плюс», 2017

ISBN 978-5-9909707-5-5

Роман о «главном»: жизни, смерти и любви. Герои — люди сложной поры крушения советской эпохи, времени обманутых ожиданий, тревожных предчувствий. У главного героя ничего не вышло ни в профессии, ни в любви. Собирался стать актером, но сорвался на экзамене. По протекции стал большим начальником — «подставили», хотя денег хватало на широкую полубогемную жизнь. Случайные женщины, странствия, приводящие на грань жизни и смерти: шторм на озере, встреча с беглым зэком… В финале перед героями откроются «последние истины», каждому своя.

УДК 82.32.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9909707-5-5

© Волков А. А., 2017
© Геликон Плюс, 2017

Содержание

Предисловие 6
Часть первая 8
Часть вторая 60
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Александр Волков
Маргинал

Издание выпущено при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Издание Санкт-петербургской общественной организации «Союз писателей Санкт-Петербурга»

.

Предисловие

Книга Волкова захватывает от начала и до конца, от нее не отрываешься… все время чего-то ждешь, даже если не свершается особых событий, их не перестаёшь ждать – это уже огромное достоинство прозы. Тем более – романа. Книга эта – исповедь одного человека и его вопросы к самому себе. В какой-то мере – покаяние. И вопросы, вопросы…

Герои ее – люди сложной поры: последней из советских эпох, эпохи нелегких предчувствий, упадка и разочарований, бесконечных крушений – и все равно мечтаний. «…все мы тогда переживали духовный кризис; всем пошел четвертый десяток, страсти немного улеглись, колея жизни сделалась глубже, привычней, каждый ткнулся лбом в какой-то предел своих возможностей». То, как человек «утыкается в предел своих возможностей», и есть, пожалуй, главное событие книги. Как и главный герой ее – такой «уткнувшийся человек». Ничего не получилось толком – ни в профессии, ни в любви. Но мог ведь, мог! Могли! «Герои поражения» – говорят об отдельных исторических лицах. Главные герои романа тоже «герои поражения». И Анатолий Осокин первый среди них – от лица которого ведется рассказ. Он собирался стать актером, но сорвался на экзамене… наверное, он и потом мог бы поступить. Но пошел в «Лесотех»… Занялся лесами – там, в лесу и остался. Сперва стал большим начальником, потом просто шабашником – «хозяином» шабашной бригады. Судьба его, его жены Насти, неудавшейся актрисы, и двух его (и ее) друзей, которым «удалось поступить»: кинорежиссера с не сложившейся судьбой, и удачливого на первых порах актера составляет сердцевину книги. Потому что эти люди, когда встречаются меж собой – всегда ставят пред собой главные вопросы: «Как жить надо?» – вечный наш российский, толстовский вопрос, от которого нам никуда не уйти – и, наверное, ему от нас не уйти тоже!

Но сюжет книги – не эти разговоры сами по себе, но безудержное «качение» жизни с ее мрачной суетой и печальным разнообразием. Случайная женщина в жизни героя, со странным именем Винера. И у нее за стенкой платяного шкафа – сын… «Утром, еще в сумерках, я увидел перед постелью мальчика в ночной рубашке. Он стоял босыми ногами на полу и держал в руках свои тапочки. Что с тобой, Паша? – спросила Винера, приподнявшись на локте и прикрывая грудь углом одеяла. – Пусть дядины тапочки стоят у моей кровати, а мои тапочки стоят рядом с твоими, – сказал мальчик.» И тот, кто прочтет книгу, будет помнить наверняка, и более всего, именно эти ее эпизоды…

И катер, попавший в шторм на большом озере, и встречу героя с бежавшим зэком в пустом поселке, брошенном людьми – где Осокин остается один на один… с человеком? Или с собственной смертью?.. Смерть дочери при родах – девочки, которую ни он, Осокин, ни жена его так и не увидели. И она осталась в их жизни страданием и обещанием. И короткий безумный путь через ночь старого паровоза «СО» – «Серго Орджоникидзе»: у топки которого нечаянно соберутся главные герои… Они возьмут паровоз для съемок фильма, который у них не получится, и который никогда не выйдет в свет… Но здесь, у топки они узнают, что одному из них поставлен смертельный диагноз…Встреча с мужем другой, случайной в жизни героя женщины: Ренаты, ушедшей из жизни: «…Говорил он как всегда плохо: почти бессвязно, тягуче, с длинными паузами. Про то, что я тогда зря ходил, что «ей» все мои блага не нужны – грешен, предлагал: квартиру, деньги, жизнь «без проблем», – что она и не таких перед собой видела, но все это ей не нужно, что она все равно с ним, тогда, сейчас, всегда, смерти нет, она приходит, она и сейчас здесь, смерти нет, она улетела, она сейчас в астрале, и он тоже, когда торчит, и лечиться это жлобство, страх, а он не боится, он видел, как она уходила, и ей было не страшно, она даже хотела скорее, чтобы не было этого страшного лица, туда, где все равно, где все едино, а потом ее чем-то мазали, и еще что-то делали, и ей было все равно, и он играл ей на флейте из «Орфея», и они опять были вместе, и мне этого не понять.»

Эта книга – о чем-то главном в нашей жизни: о жизни, о смерти. Она про всех про нас. Она по-настоящему хорошо написана. И печатать ее надо потому, прежде всего, что ее следует читать!

Борис Голлер

Часть первая

Иногда мне хочется исчезнуть. Не умереть, а именно исчезнуть и посмотреть, что будет без меня, как будут жить мои родные, близкие, друзья. Наверное, так же, как живем мы, когда кто-то из нас умирает: сперва рыдаем, скорбим, потом постепенно привыкаем к отсутствию человека и начинаем жить так, словно его не было никогда, словно он вообще не рождался, и это так странно. Странно и то, что они все же как-то присутствуют в нашей жизни, в частности, в моей: я помню голоса, жесты, лица, я даже продолжаю говорить с некоторыми из них в своем воображении – говорят, это признак шизофрении или одиночества. Эти вещи, одиночество и шизофрения, чем-то близки, есть у них какое-то внутреннее родство. «Онтологическое» как говорят философы. Я проверял.

Я спрашивал у одного своего приятеля, страдающего маниакально-депрессивным психозом, общается ли он с кем-то, когда попадает на отделение в периоды обострений: осенью и весной. Нет, отвечал он, зачем? Я даже как-то встретил у него в зале свиданий одного нашего общего знакомого, друга юности, поэта, у которого все эти дела обостряются на почве пьянки: глюки, небо в шашечках, все враги, начиная с домашних. У него уклон маниакальный, он становится опасен, и когда начинается припадок, жена вызывает санитаров и сдает его в психушку. Его скручивают с трудом; он – астеник, жилистый, возбуждение придает ему сил, – но все же справляются, точнее, справлялись, теперь все: нет человека – нет проблемы. Умер в той же психушке, закололи до летаргии, он двое суток пролежал в мокрых простынях под раскрытым окном в январскую оттепель, схватил пневмонию, иммунитета – ноль, и все: выкатили на носилках вперед ногами. Хоронили в крематории, народу было прилично, человек пятьдесят, слов было сказано много, кто-то даже стихи прочел, вдова из них пару строк взяла на эпитафию, что-то про «любовь к жизни», точно не помню. Да и строки-то были так себе, сочиненные наспех, как частушки к юбилею, но мысль была точная, насчет «любви к жизни». В разных ее проявлениях, как в сложных, тонких, так и в самых примитивных, простых – две стороны одной медали.

Я не поэт, но я бы на его могиле написал так: ты любил брать и со смаком описывать, как ты это делаешь. Вино, женщин. Были тут, впрочем, и свои штампы, как у профессионального актера: к высоким женщинам, а его, как человека небольшого роста, тянуло по большей части как раз к таким, – он подъезжал с фразой: Пушкин, как известно, тоже был невелик. И уточнял, как портной или гробовщик: один метр пятьдесят шесть сантиметров. И умереть в дурдоме на вонючих простынях. Жена, впрочем, почти всерьез считала его гением, винила себя в его смерти, в крематории ее отпаивали валерьянкой, подносили к носу ватку с нашатырем, а когда довезли до дома и усадили за стол, она стала хлопать рюмку за рюмкой, но не напилась, а словно остекленела: сидела, смотрела в точку, тихонько скулила и бормотала: веселитесь!.. сами веселитесь!.. нет тамады!.. нет больше тамады!.. Сын, парнишка лет пятнадцати, бледный, с длинной шеей, с первым пухом на щеках, похожий на страусенка, сидел рядом и утешал: не плачь, мама, сама же говорила, как ты устала, теперь отдохнем. И это были, как ни странно, самые правильные слова из сказанных в тот вечер. Так что лучше не исчезать, а умирать сразу, тем более, что так оно и будет, никаких иллюзий на этот счет я не питаю и все «свидетельства», а тем более «доказательства» всерьез не принимаю. Сказано: воздастся каждому по вере его. Ну что ж, воздастся так воздастся. Я считаю, что человек еще при жизни получает все, что ему положено: ад, рай. По этой шкале я сейчас, скорее всего где-то посередине, в чистилище. Все вроде нормально, но день на день не приходится: не люблю понедельники, пятницы, тринадцатые числа, високосные года. Из дурных примет делаю исключение только для зайцев и черных кошек. Первых стреляю из-под собаки, вторых, напротив, обожаю: есть в их раскосых желтоглазых мордах что-то от Нефертити.

Я и жену свою так выбрал, интуитивно, по внутреннему сродству, точнее, это случилось как бы само собой, но в семнадцать лет, когда ты после школы приезжаешь из провинции в большой город, один, свободный от родительской опеки, жизнь начинает течь не совсем по тем правилам, что внушались в школе, где ты мог быть и «одним из первых», «гордостью» и прочее. Тут таких «первых» как у дурня махорки, и место под солнцем надо отбивать заново. Особенно если поступаешь в театральный, где на каждое такое место прет с улицы человек сто. Я дошел до третьего тура. Там же и встретился со своей будущей женой, которая, впрочем, только на этом туре и появилась, а не шла с первого, как все.

Тогда нас оставалось человек тридцать при том, что мест на курсе было четырнадцать, и вот она появилась и еще двое с известными в те времена фамилиями. Они-то точно знали, что пройдут, держались в сторонке, смотрели рассеянно, поверх голов и, представляясь по фамилиям: Корзун! Метельников! – выставляли перед собой два вертикально сложенных пальца. Я выставил один, средний, Корзун меня ударил, тут же, перед дверью, за которой шел экзамен, я ответил, поднялся страшный шум, вышли члены приемной комиссии, у Корзуна носом шла кровь, у меня тоже, но моя кровь по сравнению с его кровью была ничто, на собеседовании меня завалили, он, естественно, прошел, сказал, что в будущем хочет сыграть Дориана Грея, говорят, сыграл, я не видел, но Анастасия, моя жена, говорит, что неплохо, в этом я ей верю. Она тогда сказала, что хочет сыграть Анну Каренину и Офелию, как в «Песне песней» – крепка как смерть любовь!

Ответ понравился; впрочем, она не старалась угодить, она действительно так думала. Она и сама была такая: все время как будто под легким кайфом, подкуривала «травку», как я потом узнал, я тогда был провинциальный юноша и знал только одно значение слова «план». Она и меня слегка подсадила, с Метельниковым, Корзуном, так, косячок за компанию, под кофеек, пиво.

Я тогда успел перекинуть документы в лесотехническую академию, поступил, а потом случайно встретил их всех троих на улице: привет! Привет! Как дела? Все ништяк! По кофейку?.. А может лучше пивка?.. Ну так кофе или пиво?.. Бросили монетку, выпал «орел» – пиво. Зашли в бар, взяли семь кружек, тарелку соленых сушек, все по кайфу, никаких обид, Корзун с Метельниковым базарят о чем-то своем, актерском: этюд, сверхзадача, а мы с ней сидим напротив, смотрим друг другу в глаза, и все так ясно. Игру придумали: один зажигает спичку, передает другому, тот опять ему, кто пальцы обожжет, бросит, тот проиграл. Те увидели, им тоже захотелось, спичка пошла по кругу, сперва так, потом на пиво. Я пару раз нарочно бросил, не стал ей передавать, Корзун с Метельниковым поняли, куда-то сразу заспешили, деликатные парни. Мы сидели еще минут пять, не больше, а потом тоже ушли, как подпольщики, условившиеся о чем-то очень важном, и расходящиеся попарно для безопасности и конспирации.

В сущности, так и было; пиво сблизило, мы теперь составляли как бы некое малое сообщество, при том, что они были будущие актеры, а я лесовик, но в разговоре установился некий общий «тон», проскочили какие-то намеки, обертона, а эти мелочи порой сближают больше, нежели профессиональные интересы. Тем более в актерской среде; актер, по-моему, это нечто среднее между гладиатором и проституткой, с той лишь разницей, что там все натурально: смерть, оргазм, а здесь – имитация. Хотя высопрофессиональные шлюхи имитируют все, вплоть до девственности. Того же, впрочем, достигают на вершинах профессии некоторые актеры; не девственность – смерть. Видевшие спектакль Гротовского «Стойкий принц», уверяли, что исполнитель главной роли в финале усилием воли вгонял себя в состояние, близкое к клинической смерти: микрометаморфоза, которая сразу, с беглого взгляда, отличает живое тело от мертвого. Возможно, этот переход был бы весьма к лицу принцу Гамлету при произнесении знаменитого монолога: быть? – живой – или? – дыхание прекращается, пульс делается нитевидным и постепенно исчезает вовсе – не быть? – покойник. И так весь монолог: туда –

обратно. А всех остальных: Клавдия, Гертруду, Офелию и пр. – не надо вовсе, это все пережиток, средневековье. «Гамлет» – моноспектакль часов на восемь-двенадцать, состоящий из единственного монолога. Когда я высказал эту идею, они визжали от восторга: Тоха, это не просто круто, это сверх-круто!.. Тебе на режиссуру надо, спектакли ставить, а не елки сажать!..

Чуть не совратили, но я устоял. Я уже ездил по лесам, ходил с ружьем, завелись уже знакомства среди областных лесников, лесничих, а Настей мы жили открыто, как муж и жена, ее родители в этом смысле были люди здравомыслящие: вот вам комната, что вы, кошки, чтобы по чердакам и парадным таскаться. Им даже нравилось, что я не актер, не писатель, не художник, вообще из другого мира. Ее мать, театральный критик, даже находила во мне что-то «чеховское»: Астров, Лопахин. Я слушал и сам невольно подгонял себя под этот романтический идеал. Лопахин тоже в душе романтик; не люблю, когда его представляют хамом и выжигой. Возвращался из поездок – ездил с инспекторами, на браконьеров, – пропахший дымом, потом, порохом, мылся, брился, протирал лицо одеколоном, надевал чистое белье, садился за стол, выпивал рюмку ледяной водки, начинал рассказывать. Чуток, конечно, приукрашивал, для «художественности». Теща млела, смотрела томно, из-под ресниц; тесть подводил «мораль»: мы всегда были и будем чужими для этого народа, а вот он – тесть указывал на меня как на труп в анатомическом театре, – будет связующим звеном между народом и нами! Согласны, Анатолий Петрович?

Я скромно опускал глаза; я знал свою «роль» и по мере сил старался не фальшивить. Настя едва удерживалась от хохота; мы переглядывались через стол, через рюмки, фужеры, фарфоровые приборы, по обеим сторонам которых было разложено до десятка всевозможных ножей и вилочек. Тесть состоял при дипкорпусе; заведовал застольной частью «протокола». Я довольно быстро овладел «искусством еды», стал прилично одеваться в отличие от студенческой братии, у меня всегда были деньги, мои, личные – от инспекторов как известно или отстреливаются или откупаются, второе предпочтительнее, – я всегда мог дать в долг, и это тоже была часть моего «образа», третья «ипостась», которую я представлял в академии. Для лесников я был «интеллигент», «белая кость»; для круга настиной семьи – «человеком из народа», «искателем приключений». Они же и посадили меня в «кресло» главного инженера областного лесоуправления; кто-то кому-то что-то сказал как бы между прочим: «есть паренек, зять Андрея Кирилловича – мы с Настей тогда уже были официально женаты, – энергичный, лес любит, знает людей, подход, специфику, правда, всего двадцать два года, но ничего, мы с тобой в его годы Кенигсберг брали».

Кенигсберг брать было, наверное, в каком-то смысле легче; я занял обшитый дубовыми панелями кабинет, сел за стол с тремя телефонами и уже на другой день почувствовал себя как паук, попавший в чужую паутину: нити, по которым должен был идти сигнал о влетевшей мухе оказывались глухими и клейкими, в ящиках и на углах стола обнаружились стопки папок с какими-то подозрительными экспертизами, сухо, с алгебраической четкостью, доказывавшими необходимость санитарных вырубок в таких участках лесов первой категории, где даже на туристической карте легко просматривалась близость транспортных коммуникаций, водных или земных. В некоторых из этих мест я бывал сам; да, лес, это не парк отдыха: бурелом, сухостой, гнилье – за сотни лет хлама набралось изрядно, представьте себе, что было бы в наших городах, если бы люди перестали погребать своих покойников! – но это еще не повод очищать их огнем и мечом до голой земли. А оргвыводы из актов следовали именно такие; находились даже благодетели, готовые взять на себя этот нелегкий труд с последующей очисткой территории либо под самосев либо под искусственные посадки в зависимости от характера и продуктивности окружающих лесов. На лес готова была двинуться «машина»; нет, лава, вроде вулканической; ее удерживала только моя подпись, точнее, то пустое место, где она должна была быть вставлена, между «Главный инженер» и (А. П. Осокин).

После семейного ужина я разложил на столе карту области, обвел кружками пару мест, прилегающих к проточным озерам разветвленной, но единой, водной системы, и сказал, что рубить здесь лес все равно, что брать кирпичи на постройку мансарды из цокольного этажа: кирпичами от церквей мостовые уже мостили, теперь по ним ходит окончательно озверевший мужик. Теща слушала, смотрела на меня с поволокой в глазах и восклицала: Астров!.. Я всегда говорила: Толя, вы – Астров!.. Тесть молча дождался окончания моего «доклада», а потом сказал: Толя, надо, есть указание. Ниточка, которую я считал сигнальной, оказалась клейкой. Внешне я еще держался, но внутренность уже глодал какой-то незаметный червячок; так болезнь начинается порой даже не с кашля и ощущения горьковатой сухости в ноздрях, а со сновидений: мне перед гриппом обычно снятся змеи, укус означает, что через один-два дня я свалюсь.

Я не сразу поставил свою подпись под актом. Формально я не то, что имел право лично убедиться в правоте экспертизы, я обязан был это сделать. Была первая декада мая, каникулы между Первомаем и Днем Победы с первой жарой, порывистым ветром, гоняющим по улицам душную как дуст зимнюю пыль. Я взял Настю, палатку, ружье, двухместную байдарку, мы сели в электричку, доехали до одной из конечных пригородных станций, переночевали у местного лесничего, а наутро прошли к озеру, загрузились в нашу латаную брезентовую лодку и поплыли, сверкая на солнце мокрыми дюралевыми лопастями. Я сидел впереди, озеро то расширялось, то сужалось, из мутной как спитой чай воды поднимались островки, окруженные гранитными валунами, заросшие темным ельником, передо мной лежало ружье, и когда из прибрежного камыша с легким свистом взлетали утки, я бросал весло и на вскидку бил дуплетом в середину стаи. Вечером у нас был костер на сухом песчаном берегу, под ним доходила до кондиции обмазанная глиной утка, в палатке был разложен пуховый спальник, мы пили вино, за озером гасла вечерняя заря, и вселенскую тьму над нами уже кропили первые ночные звездочки. Мы даже не говорили; нам было не просто хорошо – это понятно, – было такое чувство, будто между тем, что у нас внутри и тем, что нас окружает, установилось полное равенство, такое, говорят, бывает у спортсменов в предчувствии рекорда: предел напряжения и полная свобода. Ты – один, единственный; впереди – никого.

Но мы опоздали; когда на другой день я направил нос байдарки в еле видную среди камыша протоку, порыв ветра донес до нас тонкий повизгивающий звук. По мере нашего продвижения звук этот временами исчезал, но каждый раз возвращался уже слегка усиленный как будто там, за лесом им управлял невидимый нам пока звукорежиссер. Я уже ничего не слышал, кроме этого звука; я знал, отчего он происходит, и все же до конца не мог поверить в его реальность.

Там уже работали. Лес был еще густ, солнце едва пробивалось сквозь кроны, и светлая рябь на мертвой рыжей хвое между стволами была почти незаметна. На берегу дымился костерок, возле него топтались две маленьких сгорбленных фигурки, чуть в стороне, на пологом, выдающемся в озеро, мыске, темнела палатка, рядом с ней возвышался голый, сколоченный из сосновых стволиков, каркас, внутри которого уже стояла на гранитных валунах круглая буржуйка с двухколенной трубой, похожей на перископ подводной лодки. Лес был еще не тронут, но издалека уже напоминал яблоко с гнилым вдавленным пятнышком на месте червоточинки или ушиба. Где-то в его недрах повизгивала, глохла и вновь с фырканьем заводилась бензопила, два человечка вынесли из леса жердь, внесли ее внутрь каркаса, прихватили скобами к нижнему венцу, и один опять ушел в лес, а второй стал стесывать жердь топором под будущую половицу. Он тесал, мы подходили все ближе, и по мере нашего приближения этот человек все больше напоминал мне обезьяну из индийской притчи. Стая набежала на участок, где работали плотники; любопытные зверьки стали хватать все подряд; одна обезьяна влезла между половинами расклиненного бревна, стала расшатывать вбитый между ними клин, и когда выдернула его, половинки сошлись и задавили ее до смерти. «Природа, думал я, тот же клин, вби-

тый между землей и небом самим Богом, и мы, вырубая леса, ведем себя ничуть не умнее той мартышки, нет, мы действуем во много крат глупее и подлее, везде кричим, что это недопустимо, что ресурсы планеты не безграничны, что мы совершаем страшный грех перед будущими поколениями – болтуны, лицемеры».

Я не стал хвататься за ружье; я даже разобрал его, уложил в чехол и затолкал в складки спальника на дне байдарки. Мы пришвартовались к берегу как простые туристы, я перескочил на гранитный валун, обвязал вокруг него швартовый, помог Насте выбраться из лодки, мы подошли к костерку, поздоровались с двумя сутулыми мужичками в грязных рыжих ватниках с серыми воротниками из искусственного меха; один что-то буркнул в ответ, другой промолчал: он мешал в котле алюминиевой, привязанной к деревянному черенку ложкой, рядом на деревянной плахе лежали несколько выпотрошенных язей: рыба собиралась на нерест, и где-то в протоке, по-видимому, стояли сети. Все это: грядущая рубка, сети в природных нерестилищах – было незаконно; у меня были с собой два удостоверения: инспектора рыбохраны и главного инженера; на этом пустынном берегу я представлял государство, закон, а они, эти два мужичка, были гражданами этого самого государства, но если бы я достал тогда свои «корочки», в твердых, темно-вишневых глянцевых обложках, с золотыми гербами, и стал призывать этих мужичков к порядку, дело могло бы обернуться скверно: соотношение сил было явно не в нашу пользу.

И я не стал «светиться»; я только спросил разрешения поставить палатку, тем самым как бы признавая за мужичками право первенства на этот плоский мысок. Мужички кивнули; я посмотрел на часы и бросил взгляд в ту сторону озера, откуда мы пришли, как бы намекая на то, что мы не одни, следом идет целый караван байдарок. При этом я испытывал чувство какого-то ватного бессилия, сродни тому, что накатывает во сне; мужички могли оказаться кем угодно, соседство с ними было небезопасно, но какие-то неведомые силы: профессиональный долг плюс навязанный тещей литературный имидж «доктора Астрова» – заставляли меня вгонять колышки в плотный как верша переплет корней, растягивать тент между сосновыми стволами: делая все это я почти физически, материально ощущал себя пауком, перепутавшим нити и влипшим в собственную паутину – чисто кафкианская метаморфоза, – я бы, наверное, даже не очень удивился, если бы утром, проснувшись в спальнике, обнаружил вместо рук и ног когтистые волосатые лапки и, выползши на свет, вогнал в столбняк свидетелей своего «превращения». Не исключено, что во мне «включился» и заработал дремавший доселе мазохистский инстинкт: подспудное влечение к самоистязанию – я хотел побыть в том месте, где всякое действие окружающих причиняло мне скрытые душевные муки. Впрочем, никто об этом не догадывался, даже Настя; внешне я был абсолютно спокоен.

К вечеру бригада собралась у костра; кто-то подошел к нам, попросил закурить, я щелкнул портсигаром, нас позвали отведать «ушицы» из язей, мы пришли со «спиртиком», на грань стакана угольком нанесли метку, пустили по кругу, мужички негромко беседовали, густо пересыпая матом: было хорошо, тепло, совесть моя почти заглохла, и только вид вальщика, угрюмого скуластого мужика, методично шлифующего надфилем мелкие зубчики цепи для бензопилы «Дружба», наполнял мою душу смутной, похожей на незастывший студень, тревогой. Кто-то рассказывал, как на них вышел голодный, покрытый клочкастой шерстью, медведь-шатун, как Юрушка – вальщик – двинулся на него, на вытянутых руках выставив перед собой трескучую шину, и как зверь пятился от человека с бензопилой, шаркая по воздуху мохнатыми когтистыми лапами. И от этого рассказа, от рваного пламени костра, от еловых лап, выступающих из безмолвной, плотной как антрацит, тьмы, веяло такой дикой мощью, рядом с которой мои корочки, призывы к законности, порядку, выглядели бы не только смешными, но даже противоестественными; как скрипичное соло вблизи Ниагарского водопада.

И тут во мне как будто что-то хрустнуло; я вдруг понял, что по возвращении в город я подпишу все, что потребуется, что я не Астров и даже не Лопахин, я – Ионыч: я буду играть

по правилам той игры, в которую меня приняли, и буду совершать все, что предписано мне по роли, что дилемма «быть – не быть» может трактоваться как «жить – играть» и разрешаться в пользу «игры», злой, глупой, близорукой, эгоистичной, но все же ведущейся по каким-то правилам в отличие от «жизни», правил не имеющей. Нет, неправда, какие-то правила все же есть, говорил мне внутренний голос, ты можешь спуститься к байдарке, взять ружье, предъявить свои документы, потребовать разрешения на порубку, мужики оторопеют, встанут, собьются в кучку по ту сторону костра – и это будет другая «пьеса», из тех, что так любят представлять в нашем театре, на экране, где исполнителям реально ничто не угрожает и не противостоит. Здесь же, в ночном лесу, вблизи озера, ход событий был непредсказуем; все уже были слегка под хмельком, и мне не хотелось играть в рискованные игры даже перед моей красивой молодой женой.

Мы допили спирт и пошли в нашу палатку спать; я был спокоен, я знал, что теперь нам ничто не угрожает. Перед тем как заснуть Настя спросила: а что будет с лесом? Его можно рубить или нет? Нет, сказал я, но они его еще не рубят. Но они уже готовы, сказала она, Юрушка точит цепь. Он просто не знает, чем себя занять, сказал я, а с этим лесом я выясню, когда мы вернемся, по-видимому, мужики просто опережают события, такие типы не могут сидеть просто так, они или работают или пьют, третьего не дано. Впрочем, большинство людей вообще не может жить просто так, всем надо что-то делать, чтоб не сойти с ума: Юрушке – точить цепь, валить сосну, отгонять медведя, твоему папе следить за тем, чтобы на столе были правильно расставлены приборы, словно местоположение вилочек и фужеров может оттянуть начало Третьей Мировой войны – последнее я, разумеется, не сказал, только подумал.

Утром мы встали, собрали палатку, погрузились в байдарку, попрощались и поплыли обратно; Настя ни о чем больше не спрашивала, я молчал, и нам обоим было ясно, что скрывается за этим молчанием. А через два дня я уже сидел в своем кабинете и подписывал, подписывал. Я вызывал к себе директоров леспромхозов, лесничих, листал растрепанные отчеты о рубках, посадках, лесных пожарах, о подкормках лосей и отстрелах волков, я требовал выполнения плана по лесозаготовкам, и пожилые, грузные, плешивые, плохо выбритые мужики топтались в конце ковровой дорожки и, потупя глаза, мяли в красных кулаках ворсистые заношенные кепки.

Мы с Настей ездили на курорты, кооперативная квартира обставлялась дорогой мебелью – все катилось как в дурном сне с призрачными, неуязвимыми для моих ватных рук, персонажами. От беременности Настя предохранялась; препараты были импортные, так что наша половая жизнь протекала вполне комфортно. Разговор о детях не заходил; молча подразумевалось, что когда-нибудь они, конечно, будут, двое, мальчик и девочка, но сейчас ребенок мог не только задержать начало настиной актерской карьеры, но на какое-то время вообще выключить ее из профессии. Впрочем, дело, быть может, было не столько во «времени», сколько в публике, которая клубилась вокруг нас, собиралась в нашем доме.

В основном это были настины коллеги, большинство только-только что-то окончило, кто-то уже включился в какую-то труппу, театр, кто-то снимался, кто-то, тот же Корзун, заработал себе маленькое, но имя; на журнальных обложках, на экране, на газетных полосах, мелькало знакомое широкоскулое лицо: ироническая улыбка, веер морщинок от уголков глаз, блестящих от наглости и возбуждения. Впрочем, в их выражении наряду с веселым азартом было и что-то заискивающее, а в манере игры, в том, что я видел на сцене, на экране, был, напротив, хамоватый напор, эффектные штучки, которые порой так перетягивали на себя внимание зала, что тонкости первого плана пропадали втуне; так не замечают игры музыкантов в оркестровой яме. Кто-то в компании имел неосторожность заметить, что Корзун начинает «торговать мордой»; актер встретил «шутника» в баре киностудии и при всех дал ему по физиономии. Тот хотел было подать в суд, благо, свидетелей было полно, но скандал замяли, Корзун принес

публичные извинения, т. о. все остались «при своих»; правда, выражение «торгует мордой» из кулуарного трепа не исчезло, но произносили его тишком, тем более, что его легко было списать на зависть: карьера Корзуна раскручивалась как пружина, выскочившая из хряснутого об пол будильника.

Я включался в эту богемную болтовню на правах хозяина дома; у нас ели, пили, занимали небольшие суммы, порой оставались ночевать; я считался чем-то вроде «просвещенного дилетанта», мнения которого при совершении каких-то практических действий можно без ущерба для «дела» выносить за скобки. А действия были вполне конкретные: кому-то предлагали одну роль, в то время как он претендовал на нечто большее, и надо было либо соглашаться либо нет; кого-то приглашали на перспективные съемки, но согласие означало конфликт с главрежем, и здесь тоже надо было решать «быть или не быть». Конкретных советов я не давал; я рассуждал «в общем»: говорил, что хороший актер не сразу выдает «оценку», позволяя зрителю чуть-чуть, на миллионную долю секунды, опередить себя и потом, опять же, совершенно незаметно, представить свой, уже откорректированный, профессиональный «вариант», играя, таким образом, как с партнером, так и со зрительным залом. В этом смысле его искусство чем-то сродни мастерству фокусника, карточного шулера, в нем присутствуют все три элемента «священнодействия»: чудо, тайна и авторитет.

Метельников со мной соглашался; актером он был посредственным, сознавал это, и готовился на Высшие режиссерские курсы. На отборочный тур ему надо было представить оригинальное творческое произведение: картину, рассказ – техника в расчет не бралась, комиссия хотела знать, как человек мыслит. Рисовать Метельников не умел, стихи писать тоже, оставалась проза, но и здесь он не был оригинален: каждый его рассказ непременно начинался с того, что героя, накануне изрядно «принявшего на грудь», будил либо «заливистый звон будильника» либо «тревожный (вар. гулкий) телефонный звонок», звонила, разумеется, «она». Вариант: «сознание возвращалось медленно» тянул за собой «больничную» атрибутику: скрипучие койки, запах хлорки от свежевымытого линолеума, мокрый, «сексуально (курсив мой) проскальзывающий в потную подмышку», градусник. Весь этот инфантильный бред обкатывался на нас с Настей; мы были для автора самой доброжелательной аудиторией, при том, что Настя придерживалась в своей критике направления скорее комплиментарного, я же старался оценивать эти «опусы» объективно, но невольно скатывался в скепсис и кончал тем, что «главная ошибка автора, заключается не столько в технических недочетах, сколько в попытке доказать самому себе свои писательские способности». Забудь о себе, говорил я, попробуй описать нечто, совершенно чуждое твоему жизненному опыту, мысленно представь перед собой какую-нибудь картинку, воспоминание, и, откидывая собственные чувства, воспроизведи ее деталь за деталью. По сути, это был тот же знаменитый «метод физических действий», с той лишь разницей, что актер достигал нужного психического состояния путем визуальных, чисто внешних, манипуляций; на бумаге же происходил направленный «отбор деталей», создавался «виртуальный интерьер», «пейзаж», адекватный состоянию «героя». Для примера мы смаковали хокку, танки и цитировали Хэмингуэя; после одной из таких бесед Метельников попробовал описать посещение крематория – талантливый сокурсник спился и повесился в тамбуре электрички, – вышло мрачновато, но как-то пусто, мимо, без ощущения того, что он же сам сказал на поминках: мы начинаем умирать, не рановато ли? Когда я ему это высказал, Метельников психанул; вскочил, уронив табуретку, стал бегать по кухне, кричать: сам пиши, если ты такой умный, а я все, сдох Бобик! Чуть не выскочил на улицу среди ночи, но я удержал, сказал, что мы попробуем еще раз. Именно «мы»: я тоже впал в своего рода азарт; захотелось узнать, выйдет ли что-нибудь из практического объединения наших усилий.

Опыт был задуман чрезвычайно просто: я на магнитофон наговаривал какой-нибудь из эпизодов своей жизни, а затем Метельников методом технической обработки приводил этот импровизированный монолог в «литературный вид». С кухонного стола убрали все лишнее,

поставили «Филипс» – подарок тестя к годовщине свадьбы, – все вышли, я налил стакан вина, закурил, нажал кнопку и, глядя на блестящую коричневую ленту, выползающую из-под никелированного ролика прокатного механизма, начал говорить. Я говорил и все время смотрел в одну точку; это было что-то вроде аутогипноза, медитации; мне казалось, будто каждое мое слово, буква, не просто звучат, но как будто уплотняются в дымном воздухе до состояния типографских литер и в таком виде отпечатываются на магнитофонной ленте. Писательство, в сущности, и есть одна из европейских форм медитации, так же как музыка, живопись, предполагающая как создание некоего «объекта чувственного восприятия», так и вживание воспринимающего в состояние его создателя, именуемого «творцом». Итак, на данном этапе я был «творцом», точнее, медиумом, а еще точнее, аутомедиумом, так как сам вгонял себя в «состояние», выражал его словами и, с некоторым запозданием, слышал звук собственного голоса: микрофон стоял передо мной, а отключить кухонные динамики мы забыли.

О чем я говорил? О том, как мы с Настей на байдарке вышли на лагерь лесорубов. Все как было, без героизма, без пафоса: выходило, что там я струсил, не встал на пути «беззззакония и произвола», спрятался за «обезьянью притчу» вместо того, чтобы сверкнуть корочками, наставить ружье. Я говорил; мне было мучительно стыдно за себя того, но я как будто дорвался, и, как заядлый мазохист, продолжал нанизывать детали, реплики, терзавшие меня подобно иголочкам китайского терапевта. Говорил и понимал, что давно искал случая высказать то, что мучило меня все эти годы, пригибало к столу каждый раз, когда я ставил свою подпись на липовом акте и привычным жестом смахивал в стол плоский неприметный конверт без адреса и марки. Об этой части своей деятельности я говорить не хотел, но не сдержался, вынесло само собой. Вынесло и то, как мы с Настей ровно через год, но уже на моторке, пришли на то же место и увидели на месте леса покатые, покрытые пнями, холмы. Они начинались от берега и тянулись до горизонта, похожие на головы каторжников, по уши затянутых гигантской первобытной трясиной. День был ветреный, серый, низкие тучи неслись как куски разбухшего асфальта, берег уже начал зарастать камышом, и когда мы пробились сквозь него, привязали лодку и поднялись на камни, я увидел вдали полдюжины голых, стоящих кучкой, берез и тушки тетеревов, чернеющих в паутине ветвей подобно запутавшимся мухам или нотным знакам какой-то неведомой, не нашедшей исполнителя, мелодии. Я взял ружье, но пошел не прямо на них, а чуть наискось, туда, где кучковалась еще одна уцелевшая березовая группа. Через какое-то время тетерева должны были сняться со своего места и перелететь на те березы, и я знал, что если в этот момент я окажусь вблизи их «летной тропы», они не свернут, не взлетят выше, и я смогу сделать хороший выстрел.

Так и случилось; они снялись и полетели прямо на меня, вначале маленькие как воробышки, сплошь черные, а потом все больше, больше, пока на головках не проступили красные бровки, а хвосты не приобрели графическую четкость и не сделались похожи на маленькие лиры. Я выстрелил с небольшим опережением; дробь ударила в первого тетерева, от птицы брызнули черные точки, и она, не меняя траектории, пронеслась надо мной и тяжело стукнулась грудью в пень за моей спиной. Остальные полетели дальше, достигли берез и, рассевшись по тонким, стелющимся по ветру, ветвям, сделались неподвижны как чучела в тире.

Я взял убитого тетерева, вернулся и увидел, что Настя плачет. Она сидела на лавочке, сколоченной из стесанных жердей, врытой в землю, перед ней был такой же конструкции стол, и она рыдала, положив руки на жерди и уронив на них голову. Чуть поодаль была вырыта яма, почти доверху наполненная пустыми консервными банками, над ямой высился полуторараметровый пень с прибитым рукомойником, а по другую сторону от него торчали из сухого ствола шесть ржавых топоров, под которыми кучкой валялись высохшие, выпавшие из них, топорища. Картину завершал темный череп лося, он крепился на вершине пня большим гвоздем, вбитым в темя между небольшими, пустившими всего по три отростка, рожками. Настя не слышала, как я подошел, и подняла голову лишь тогда, когда я бросил на стол убитую птицу. Она

посмотрела на тетерева, на меня; взгляд был странный, как будто заторможенный; так, наверное, глядит на мир человек, пробудившийся от летаргического сна или вышедший из глубокой комы. Все как будто распалось; перед глазами были оболочки вещей, ничего не говорящие об их сущности, не имеющие никакой связи между собой. Так от нескольких повторений иногда напрочь «вылущивается» (укр.) смысл слова.

Настино состояние неведомым (взгляд?) путем передалось мне; я оглянулся вокруг: пни, банки, череп с рогами – человек прошел здесь как армейский прапорщик, наспех, грубо, обкромсавший буйную растительность на головах прибывших в часть новобранцев. Но кое-где между пнями из мха уже вылезли тонкие глянцевые прутики с набухшими, чуть лопнувшими на кончиках, почками; темная неукротимая сила выталкивала их из себя, словно не заметив человеческого варварства. Эта сила была права; она была мудра без слов, без знаков; ее мощь сообщалась мне видом этих прутиков и почек: лет через пять-семь эти голые холмы покроет лиственный молодняк с крошечными, едва заметными, елочками, но пройдут годы, елочки поднимутся, раскинут кроны, листва под ними погибнет от недостатка света, и через сотню лет, когда нас уже не будет, эти холмы вернут себе первозданный вид.

Я сел на скамью рядом с Настей, обнял ее за плечи и стал словами рисовать перед ней эту картину; я уговаривал ее как ребенка, разбившего любимую игрушку, а она вела себя как ребенок перед обломками ласточкиного гнезда, разоренного грубыми мальчишками. Не будет другого леса, шептала она, слизывая слезы с кончиков губ. Будет, Настя, лес будет всегда, твердил я, умрем мы: те, кто рубил, те, кто отдавал приказ рубить, те, кто этот приказ подписывал, человек – скот, мразь, он рубит сук, на котором сидит, но он никогда не доберется до корней дерева, на котором растет этот сук, они слишком глубоко, на них до поры спят почки, и их не достанет никакой убийца, а мы все убийцы, я, ты, твой отец, ведь мы все знали, что если я подпишу акт, случится то, что случилось, а значит, в то время что-то представлялось нам более важным. Что? я сам задавал себе вопрос и сам отвечал: квартира, машина, новое платье, вся эта шушера, которая ходит в наш дом, пьет, жрет, спит и делает вид, будто не знает, откуда берутся деньги на все эти скотские радости! Но мы привыкли к этой жизни, и будем так жить, пока не сдохнем, и ты будешь спать с убийцей, со мной, потому что ты это любишь, и я это люблю, и еще я люблю убивать: как только мы пристали к берегу, я схватил ружье, побежал и убил вот эту птицу при том, что у нас в лодке полный рюкзак жратвы, да, но мне захотелось живой крови, и я пошел и убил, и я не понимаю, в чем состоит мудрость Творца, по чьему образу и подобию, и, главное, с какой целью он сотворил такую сволочь как человек?!.

Настя уже не плакала; она сидела на скамье, покачиваясь из стороны в сторону и держа руки так, словно в них был запеленутый младенец. Окоченелый тетерев лежал перед ней, и капельки крови на его перьях были темные и твердые как крупинки граната. Я встал, принес из лодки топор и стал отдирать жерди от противоположного края стола, чтобы сделать из них шесты и колышки для палатки. Заготовив и разложив все это в подходящем месте, я собрал щепу и обрубки, на старом кострище составил из них пирамидку и сунул внутрь ее горящую спичку. Ветерок проникал между щепками, пламя трепетало, но прежде чем оно достигло кончиков моих пальцев, края стружек стали чернеть, по ним побежали едва заметные огоньки, и вскоре внутри пирамидки заметался маленький пожар. Я сходил к пню, принес старые, мышиного цвета, топорища, и со всех сторон обставил ими разгорающийся костерок. Из ямы с консервными банками я достал два закопченых крюка из толстой проволоки, повесил их на жердь и положил жердь на рогульки, торчавшие по обе стороны кострища. Настя тоже поднялась со скамьи и стала что-то делать: чайником набрала из озера воды, повесила чайник на крюк, стала таскать вещи из лодки, а когда вода закипела, ошпарила тетерева и стала пучками выдирать из него мокрые черные перья, обнажая розоватую пупырчатую кожу. В ее движениях было что-то механическое, обреченное; так действуют в фильмах царственные особы, волею судьбы попавшие в положение рабынь. Даже ночью, в двойном спальнике, она отдавалась мне так,

как, наверное, Юдифь отдавалась Олоферну: молча, неистово, без единого звука, как статуя, созданная скульптором именно для этой цели. Я тоже был как неживой; нет, хуже, я вел себя как солдафон, насилующий пленницу; как моряк, купивший на час девку у содержательницы припортового борделя.

В этом акте, растянувшемся как ни странно, чуть не на всю ночь, мне виделось нечто ритуальное; так в некоторых языческих племенах для повышения урожая с-х культур, плодовитости домашнего скота, аборигены устраивают бешеные секс-оргии, подавая как бы живой и заразительный пример обессиленной природе. Симпатическая магия: подобное вызывает подобное. Не исключено, что этот побудительный инстинкт лежит и в основе хлыстовских радений.

Не знаю, возымели ли наши труды какое-то действие, но на другой день, когда мы проснулись и вылезли из палатки, никаких туч не было в помине, над холмами, над озером сияло солнце, заливался невидимый жаворонок, а почки, накануне темневшие на побегах как родинки, разом проклюнулись и как будто подернули весь пейзаж нежнейшим пепельно-нефритовым флером, сетчатым как полотна Сера. Мы и проснулись-то оттого, что брезентовый тент нагрелся от солнца, и в палатке сделалось душно. Проснулись и какое-то время молча лежали рядом, глядя на белый от солнечного света брезент, слушая жаворонка и представляя небесную синеву вокруг его трепещущего тельца. С пробуждением Настя как будто ожила; это был уже не жесткий картонный манекен, обтянутый сухой как пергамент, кожей; это был маленький зверек, ласково тычущийся в мою влажную подмышку мягкими, бархатными как у лошади, губами. Ее ласки возбудили меня; страсть наша была короткой, но жаркой и цепкой как у некоторых насекомых, стремящихся пожрать друг друга в любовном экстазе. Потом я вылез из спальника, выбрался из палатки и, при виде всего этого буйства холодных, но таких пронзительных в своей чистоте, красок, заорал, замахал руками и как был, голый, стал вприпрыжку спускаться к маленькой, еще на заросшей камышом, песчаной выемке в озерном берегу. Я ступил в воду и пошел вглубь, чувствуя как от холода цепенеют мышцы, а дыхание делается затяжным и неровным. Когда вода достигла груди, терпение мое кончилось, я быстро окунулся в воду с головой, потом развернулся и, разгребая руками мелкую рябь, пошел к берегу.

Мы завтракали тетеревом, накануне завернутым в фольгу и зарытым в землю под кострищем, пили красное сухое вино «Мерло» из полуторалитровой, всю ночь пролежавшей в озере, бутыли; буйство вокруг набирало силу, кое-где уже показались желтые мохнатые звездочки мать-и-мачехи, зазвенел в небе второй жаворонок, плеснула в камыше большая рыба, чуть поодаль опустился на воду небольшой, не больше дюжины, гусиный табунок: гуси, покачиваясь на мелкой волне, подплыли к плоской ямке в углублении гранитной плиты и стали шумно плескаться, словно демонстрируя нам то дикое изящество движений, которое давно утратили их прирученные сородичи.

Домой мы вернулись в тот же день, уже за полночь, последней электричкой, от вокзала взяли такси. В квартире было накурено, на кухне сидела девица лет двадцати восьми-тридцати и пожилой, но довольно известный, актер с морщинистым испитым лицом. На девице был свитер с широким воротом, из которого видны были ее худые серые ключицы; актер сидел в расстегнутой на пару пуговиц рубашке, его узкие, украшенные орнаментом, подтяжки соскочили с плеч почти до локтей; на спинке стула висел обсыпанный чешуйчатой перхотью пиджак. В уголках его глаз видны были черные крапинки – остатки нестертого грима; его театр был на гастролях, и этим вечером давал «Тартюфа» с ним в главной роли. Они пили портвейн; актер говорил, что первым утренним самолетом должен лететь в Москву на съемки, что после съемок он, конечно, выпьет, потом сядет в поезд, приедет сюда, отыграет спектакль, потом опять выпьет, потом опять сядет на самолет или в поезд, поедет на съемки, после которых опять выпьет, сядет в поезд…

Мы не стали прерывать этот монолог, уходящий в дурную бесконечность – жизнь сама пресекла его года через четыре. Настя пошла в душ, а я подсел к столу, актер поставил передо мной стакан, налил вина, я молча выпил, и когда актер опять сказал: отснимусь и выпью, – почувствовал, что наступает эффект «дежа вю»: я все это уже видел, слышал, но не один, не два, не пять, а сто, тысячу раз, так же как этот актер, в тысячный раз выходящий к рампе, попадающий в объектив камеры и штампующий собственные глаза, нос, лоб, уши, гладко, до пор, выбритые, иссушенные гримом, губы с прилипшими к ним табачными крошками. Но главное, продолжал актер, привезти домой все вещи: рубашки, брюки, свитера, майки, даже носки и носовые платки; моя жена не верит, когда я говорю, что оставил что-то в гостинице, она считает, что вещь можно забыть только у любовницы, и каждый раз, когда по возвращении в моем чемодане чего-то недостает, устраивает мне жуткие сцены, серьезно! Девица слушала и сухо посмеивалась, стряхивая на стол сигаретный пепел, откидывая голову с гладкими, стянутыми в хвост волосами, и открывая длинную шею с глубокими поперечными складками.

Утром я повез актера в аэропорт; по дороге мы остановились у «Гастронома», он взял две бутылки пива и за дорогу выпил их с двумя таблетками валидола. На прощанье, перед турникетом, сказал: счастливый ты человек, Анатоль, у тебя прекрасная работа, красивая жена, от тебя пахнет дымом, лесом, а мне опять на эти чертовы съемки. В фильме он играл писателя, лауреата Государственной премии, и по сценарию у него должен был наступить творческий кризис. Потом я видел этот фильм; на экране актер представлялся умнее, значительнее, чем он был в жизни, но я вспоминал, каким он тогда улетал, и понимал, что он не играет, а просто мучается с похмелья, с вечного недосыпа, и что на вид эти страданья практически неотличимы от мук творчества.

Здесь я остановился; пленка кончилась, глянцевый хвостик выскочил из щелки между роликами и заметался вокруг бобины, сухо щелкая по пластиковой панели. В дверь постучали, голос Метельникова спросил: все? Да, сказал я, думаю, тебе хватит. Так и случилось. Он отпечатал все почти слово в слово; я даже подозревал, что это сделала машинистка; текст, страниц семнадцать, был почти без опечаток, и Метельников показал его мне через день после того, как взял бобину. Я прочел; все было почти так как я говорил, «почти», потому что при перепечатке машинистка, по-видимому, выправила кое-какие шершавости, свойственные живой речи. Но все же в некоторых местах речевая интонация сохранилась, и эти места, благодаря как раз всякому стилистическому мусору, были самые живые: они передавали не «картинку» со всеми ее подробностями, а чувство, которое испытывал я в тот момент, когда видел то, что описывал. И в то же время при чтении я ощущал странное раздвоение: тот, кто говорил все это, был как будто не я, а некий другой человек, отождествить себя с которым я мог лишь методом «исключенного третьего»: там были только я и Настя, больше никого. Но все же по ощущению выходило, что тогда я был один, потом, когда говорил в микрофон, другой, теперь же, держа перед глазами машинописные листы, третий. Впрочем, это был тот же я, слегка измененный, дополненный; Осокин плюс нечто, пережитое им и сделавшее его нынешним, таким, каков он есть сейчас. Более того, был я, и был «он», и это «он» стал отныне подписывать липовые акты, смахивать конверты в ящик стола, выезжать в лесничества, где к его приезду специально топили баню, накрывали стол и готовили облаву на крупного зверя.

А Метельников поступил; мой «рассказ» буквально протащил его через все вступительные «рогатки»; кто-то из членов комиссии даже предложил «автору» переделать его в сценарий с тем, чтобы потом пробивать на столичной студии, но Метельников уклонился, и в один из дней явился к нам прямо с поезда, прошел на кухню, вынул из портфеля растрепанную пачку машинописных листов, бросил их на стол: на, бери, делай что хочешь, лучше всего сожги, я не могу больше быть Галатеей, Франкенштейном, я хочу быть Константином Метельниковым, и больше никем!

Мы хорошо посидели в тот вечер; гостей не было, вина было мало, глупого трепа тоже. Втроем: он и мы с Настей. Она была на восьмом месяце; она как бы слушала, но я видел, что ее гораздо больше занимает то, что сейчас происходит в ней самой, в тишине, в темноте. Ее состояние захватило нас; голоса звучали приглушенно, мозг машинально выбраковывал лишние слова; Метельников говорил, что самое, наверное, ужасное, что может случиться с человеком, это если он проживет не свою, а чью-то чужую жизнь, что многие, тот же Штрих, который повесился в электричке, может потому и пьют, что никак не попадут в свою колею, говорят чужие слова, поют с чужого голоса. Приоткрыл форточку над головой, закурил, стал говорить, что хочет сделать что-то свое, но заранее знает, что ему это не позволят, даже сказать не разрешат, разве что подумать. Мы здесь втроем, сказал я, можешь говорить все, что хочешь. Это не то, сказал Метельников, надо сказать так, чтобы все услышали, поняли, но сделали вид, будто это не про них, точнее, не про нас. Именно этому вас там и учат, сказал я. Нет, сказал он, этому мы учимся сами, а снимать и клеить картинки после нашего вуза сможет любой, даже цирковая собака.

Потом взял со стола пачку машинописных листов – они так и лежали у подоконника как он их бросил, – отобрал один экзепляр, оставшиеся два подвинул ко мне и сказал: попробуем, Тоша, не хочешь соавтором, запишу консультантом, я это только с тобой смогу сделать. Как те узкие специалисты, что пришли ставить клизму: один знает как, другой куда: сказал я. Но ведь ты тоже хочешь, чтобы это услышали и увидели, сказал Метельников, включи магнитофон, поставь пленку, послушай себя – это голос живого, страдающего человека. Я ее стер, сказал я, я не хочу страдать, мне вообще противен вид всяческих страданий, мучений, экранное нытье, жалкие физиономии современных «героев», их «непризнанность», неприкаянность, за которой скрывается банальнейшая никчемность. Скрывается? сказала Настя, да она и не думает скрываться, напротив, она ведет себя очень агрессивно: герой похотлив, блудлив, а секс одна из самых активных форм агрессии. Намек понял, сказал Метельников, не идиот. Вот именно что идиот, сказала Настя, если так понял, другие живут, и ничего, тот же Корзун, торгует мордой направо-налево, а потом сидит в баре, хлопает рюмку за рюмкой, но при этом еще поглядывает по сторонам: все ли видят, как гений спивается?

Как попугай, посаженный в курятник за матерщину, сказал я, курица к нему: ах, попочка, какой ты красавец! Иди, дура, ты тут за проституцию сидишь, а я – политический! Посмеялись. Помыли «чужие кости»; знакомые говорили, что на спектакле в тот вечер Корзун дико икал, но и это умудрялся делать так, что зал выл от хохота. Был-таки, как писал Достоевский, у мерзавца талантик. Метельников отмяк; Настя ушла спать, а мы с ним сидели часов до четырех, пили сухое вино, красное, белое, смотрели как гаснут и вспыхивают окна в доме по ту сторону пустыря и загадывали, что может делать проснувшийся в такое время человек. Подробности на таком расстоянии были не видны простым глазом, и для разрешения спора: пари на сигарету, на стакан вина, – я принес из прихожей десятикратный цейсовский бинокль, увеличивавший клеточки тюля до размеров ячеек рыбацкой сети. Люди за стеклами тоже были как рыбы; двигались бесшумно, плавно: женщина в короткой ночной рубашке пеленала младенца на круглом столе, сдвинув на край винные бутылки, садилась на постель, прикладывала его личико к бурому соску, а мужчина лежал у нее за спиной и водил ладонью по ее голому бедру. Кто-то худой, растрепанный, в оранжевой майке и цветастых, до колен, трусах, снимал с кухонной полки жестяную банку с надписью «горох», доставал из нее «мерзавчика», быстро отпивал из горлышка несколько глотков, опять зарывал, но в этот момент на пороге возникала женщина в красном халате, они какое-то время махали руками, потом мужчина доставал из гороха шкалик, они садились за стол, ставили рюмки, мужчина разливал водку, они выпивали, закусывали порезанным на длинные ломтики огурцом, закуривали и продолжали какой-то бесконечный разговор, шевеля губами, взмахивая руками, кивая в знак согласия.

На другой день Метельников уехал. Через месяц Настя родила Люсю. Теща хотела, чтобы девочку окрестили, и мы сделали это в холодной пригородной церковке, почти безлюдной, рядом с мертвой старушкой, лежащей в соседнем притворе в некрашеном, густо обитом белыми газовыми воланами, гробике. Крестным отцом был Метельников, матерью – актриса театра, в котором играл Корзун, женщина «второй молодости», с высохшим от грима и чуть смазанным как на первых цветных фотографиях, лицом. Все знали, что она его любовница, что она сильно протежирует ему не столько в театре, сколько в кино, и знали, что как только надобность в протекции отпадет, Корзун ее бросит. Обряд она знала отлично; пальцем проверяла воду в чугунной, круглой, похожей на казан для плова, купели, правильно держала нашу девочку, когда батюшка кропил ладаном ее крошечные ладошки, стопы и лобик, а когда крещение кончилось, купила целый сноп тоненьких свечечек и обошла весь храмик, зажигая и ставя их перед темными застекленными ликами.

Из церкви мы отправились на дачу: двухэтажный дом из белого кирпича с круглыми башенками по четырем углам новенькой, сверкающей как ртуть, крыши, с большой застекленной верандой, уставленной деревянными бочонками с шершавыми пальмами, восковыми или матовыми на вид кактусами: устройством этого парадиза занималась теща; я только давал деньги и лишь иногда приезжал, чтобы проверить качество кладки и кровельных стыков. Особой надобности в этом не было; рабочие делали на совесть, и это было видно, но привычка не только видеть, но и делать все самому уже так въелась в меня, что я брал у каменщика мастерок, у кровельщика молоток, и возвращал инструмент лишь после того, как мне удавалось положить хотя бы несколько кирпичей или простучать согнутый шов. По-видимому, это было нужно мне для того, чтобы не чувствовать себя барином по отношению к строителям, и все же они смотрели на меня как на хозяина, и когда хвалили за качество, я все же слышал в их голосах подобострастные нотки. Мои старания они воспринимали не иначе как блажь, и говорили со мной как царедворцы с юным наследником престола. Они не знали, откуда у меня деньги; им это было безразлично: они полагали, что такого рода благополучие выпадает человеку «по карме», передается по наследству как родинки или форма ушей.

По-своему они были правы: потом я не раз замечал какое-то странное соответствие между личностью и тем количеством денег, которые необходимы ей для собственного жизнеобеспечения. Люди представлялись мне чем-то вроде кровеносных сосудов разного диаметра: одни были капиллярами, едва пропускающими между стенками по одному эритроциту, другие – артериями, эластичными толчками прогоняющими сквозь себя эшелоны крови. Я был, пожалуй, не крупнее жилочки на виске или запястье, но по-моему биению можно было определить наполняемость номенклатурного пульса, и дом, который я строил, был визуальным выражением того благосостояния, которое обеспечивает именно этот уровень бюрократического аппарата. Особняк рос, обставлялся, но инстинкт собственности во мне оставался в зачаточном состоянии; я понимал, что владею всем этим не по причине каких-то выдающихся личных качеств, а потому, что являюсь главным инженером областного лесоуправления, и что особняк, квартира, машина положены мне как чиновнику, отвечающему за принятие решений именно такого, областного, масштаба.

Но те, кто съехались к нам на крестины нашей дочери, этого не понимали, то есть, понимали, но как бы отстраненно, головой, а не всем существом, всем нутром как я. И потому я наблюдал за ними как экскаваторщик за детьми, лепящими куличики на дне песчаного карьера.

Они и в самом деле сперва вели себя как дети, попавшие на богатую елку. В основном это был Настин, актерский круг; она уже пять месяцев не играла, не снималась, начинала замыкаться, иногда срывалась в истерики, и мне хотелось, чтобы в этот день вокруг нее собралось как можно больше ее коллег. Из моих друзей был один одноклассник, бывший КМС по пятиборью, археолог, летом копавший могильники в Туве, а с октября по апрель сидевший за лабораторным столом и складывавший мозаики из стеклянных бус и глиняных черепков. Был один

технарь, работавший в «почтовом ящике», страстный поклонник джаза со столь тонким слухом и чувствительными нервами, что звуки отечественного музыкального ширпотреба доводили его чуть ли не до припадка. Я увидел, как изменилось его лицо, когда Корзун потянулся к гитаре, висевшей на стене слева от камина, и поспешил предупредить скандал, сказав, что девочка, утомленная крещеньем, плохо засыпает, и потому желательно не беспокоить ее лишними звуками.

Корзун не обиделся; он был уже слегка на взводе и начинал ломаться: встал по стойке «смирно», отдал мне честь, вместо пилотки приложив к темени левую ладонь, пробубнил, покачиваясь как подгнивший столб: есть, отставить лишние звуки! Из-за стола послышались угодливые смешки; там пили, цокали вилками; все было как в съемочном павильоне, даже некоторые лица были знакомы мне лишь по экрану, да и сам я порой ощущал себя не реальным человеком, а персонажем какой-то сентиментальной мелодрамы с заученными улыбками, словами, жестами-тостами. Не хватало только камеры, прожекторов и за-тактовых кастаньетных щелчков ассистента: дубль третий! Мы и в самом деле как будто снимали бесконечное количество дублей одной и той же сцены: «Дача Осокиных. Холл на первом этаже. Гости за столом отмечают крестины маленькой Люси». Ощущение дублей усиливалось еще и оттого, что время от времени я поднимался наверх, в детскую комнату, где Настя убаюкивала Люсю, и за время моих отлучек обстановка в холле менялась скачкообразно или «дискретно», как выразился бы физик-атомщик. Постоянными оставались лишь лица и место действия, но ловкий невидимый сценарист успевал написать для очередного дубля новый текст, и актеры, высокие профессионалы, тут же, чуть ли не с «голоса», озвучивали его.

Сперва все было сдержанно; голоса после тостов и звона бокалов звучали приглушенно, по соседству: вспоминали, где последний раз виделись, кто кого встречал из общих знакомых; об успехах – ролях, приглашениях, – предпочитали молчать: кто-то боялся сглазить, кто-то щадил самолюбие собеседника: актеры в большинстве своем суеверны, мнительны, каждый в глубине души знает, чего он стоит, но признается в этом только в режиме пьяного монолога, зачастую переходящего либо в истерику, либо в глубокий сон. Различия между полами здесь нет: женщина может уснуть на плече своего визави; мужчина, даже самый брутальный с виду, может вдруг броситься к камину и начать бросать в него свою одежду, начиная с галстука, если таковой имеется, и заканчивая носками, которым только там чаще всего и место.

Корзун и здесь отличился; гитару я по-тихому унес, и он, по-видимому, не нашел лучшего способа поставить себя в центр всеобщего внимания – рифма «мания»: у него была такая мания, – кроме как на пари бросить на тлеющие угли швейцарские часы на стальном браслете, купленные на гастролях в Индии, с тем, чтобы доказать их высочайшее, не достижимое для отечественных марок, качество. Но механизм, похоже, оказался «местного производства»; через несколько мгновений стекло лопнуло со звуком «пук!», циферблат обуглился, стрелки повело, а браслет закрутило в спираль, похожую на ленту Мебиуса. В кучке зрителей – камин был похож на маленький портал, – пробежали скептические смешки; репутация «победителя» – а Корзун не мог быть «вторым» ни в чем, – падала, и для ее спасения Корзун протянул руку, за изогнутый браслет, двумя пальцами, снял с углей то, что осталось от его часов и с шипением опустил в цветочную вазочку со смесью вермута, коньяка, шампанского и вообще всего, что стояло на столе. Вазочка заменяла ему бокал; наполненная этим убойным «ершом», она сделалась «Кубком Большого Орла»; Корзун составлял такую смесь на каждой пьянке и выпивал, опять же, на спор, что и после этого пересидит и перепьет всех присутствующих. И, надо отдать ему должное, ни разу не проиграл. Актером, на мой взгляд, он был никаким; он был, как говорят, «одаренным человеком», но одаренность эта имела, опять же, на мой взгляд, какую-то животную природу. Не «звериную» – прошу не путать, – а просто иную, несколько отличную от пластичной, органически присущей или не присущей тому или иному человеку способности к лицедейству. Этого-то в его «игре» и не было; он выходил на сцену, на съемочную

площадку и вел себя так же как в жизни: паясничал, напускал на себя меланхолию, впадал в пафос, всегда при этом несколько утрируя или «наяривая», укрупняя себя подобно мухе или таракану, попавшему под увеличительное стекло. Но и это он проделывал инстинктивно, без участия сознания; так обезьяна не думает о ловкости своих прыжков, тигр о крепости клыков и силе лап, перебивающих олений хребет. Он был не актером, а кем-то вроде шоу-мена; люди такого типа на Западе ведут популярные телепередачи или идут в диск-жокеи. Режиссеры использовали его чаще всего удачно; Корзун был эффектен, его природная наглость сходила за «гротеск», в своем амплуа – герой-любовник, – он практически не имел равных соперников. Работать с ним было легко; своего мнения он не имел, на съемках и репетициях не задавался, а от дублей и повторов не только не уставал, но еще больше заводился и «выбрасывал» их перед режиссеров подобно карточному магу, по заказу извлекающему из колоды любую карту. Метельников, впрочем, говорил, что никогда не стал бы снимать Корзуна по причине «иной природы чувств».

Мы как раз и говорили об этой «природе чувств», сидя в угловой башенке, нависающей над стеклянной крышей зимнего сада: миниатюрной оранжереей, где как в аквариуме были смешаны растения из самых разных уголоков земли, от реликтового и эндемичного японского гинкго до мексиканской агавы, из сока которой выгоняют знаменитую текилу, а из волокон ткут не менее знаменитую «джинсуху», крепкую как армейский брезент. Шум снизу сюда не долетал; через какое-то время к нам поднялась немолодая актриса: две верхние пуговицы ее дымчатой, как мышиная шкурка, блузки были расстегнуты, и в прорехе темнел деревянный крестик на льняном шнурке. Я принес из бара, сделанного в виде половинки винной бочки, керамическую бутылку с бальзамом, Метельников сварил кофе на миниатюрной электрической плиточке – он был большой любитель и специалист по части кофе, – мы уселись вокруг низкого круглого столика на бархатном, вписанном в окружность башенки, диване; вошла Настя, угомонившая, наконец, нашу маленькую: о, господи, как нам всем было в этот миг хорошо! Лучше всех, разумеется, было нам с Настей, но наше счастье было настолько избыточно, что распространялось как радиация; порой мне казалось, что вокруг моей жены светится сам воздух, образующий ореол, называемый в науке «эффектом супругов Кирлиан», точнее, просто «Кирлиан», без «супругов».

Даже Метельников, пребывавший в последний месяц в хандре, ненавидевший себя за эту хандру, бессильный против нее, презирающий себя за это бессилие, и тот как-то расправился, откинулся на низкую спинку, уткнулся затылком в простенок между узкими высокими окнами, закрыл глаза, распустил морщины на лбу. Рубашка на нем была расстегнута, узел галстука ослаблен, сам галстук был сбит на сторону, и из-под него светился купленный, тут же освященный и надетый по случаю крещения Люси, крестик. Перед ним, рядом с кофейной чашкой, стоял бокал с шампанским, но отпито было совсем чуть-чуть: пить при хандре Метельников себе запретил: тяжелое похмелье доводило его до грани суицида. Нет, говорил он, я знаю, что никогда этого не сделаю, все пройдет, и жизнь снова будет прекрасна, но тем не менее, тем не менее… Актриса сидела рядом с ним, но не расслабленная, а как бы сжатая в комочек, чем-то похожая на маленькую рыжую обезьянку, посаженную в клетку и равно готовую к любой участи: ласке, битью, вкусненькому. Последнее было перед ней, рядом с кофе стояла даже плоская фляжечка с коньяком; она наливала рюмку, поднимала в знак немого тоста, не найдя в воздухе встречного сосуда, чокалась с покатым плечиком фляжки и, не отрываясь, тремя-четырьмя глотками опустошала всю рюмку. В ее жестах было что-то отчаянное; внизу напивался Корзун, и перспектива битья просматривалась гораздо отчетливее, нежели ее альтернатива. Разумеется, это не могло быть грубым физическим рукосуйством; до подобной низости он, «герой-любовник» не мог опуститься просто по определению, но при явном неравенстве отношений бывают вещи и похуже рукоприкладства.

Когда Корзун-таки поднялся к нам, глаза его горели темным нехорошим огнем; то, что он пьян в дым, было почти незаметно, да и явился он как бы по делу: там, внизу, никак не могли разрешить пари на огнеупорность его часов: они лежали на его ладони, искореженные, черные от копоти, и Корзун по кругу подносил их к нашим ушам, чтобы каждый мог убедиться, что механизм жив: в кучке железа действительно что-то тикало, тихо, вкрадчиво, как будто боясь как окончательно угаснуть, так и обнаружить свое существование. Мнения внизу разделились почти пополам, и для победы Корзуну нужен был перевес в один голос. Мы с Настей сказали: «за»; Метельников был против; актриса сослалась на то, что она «не адекватна», и воздержалась. Корзун через стол буквально размазал ее своим нехорошим взглядом и, пробормотав сквозь зубы: «пить надо меньше, надо меньше пить», вышел; он получил то, что ему было нужно, и победа опять осталась за ним. Недавно его пригласили на роль негодяя, что-то в роде Мишки-Япончика в романтическом детективе; через его руки проходили крупные партии краденых бриллиантов; воровские «малины» перемежались с роскошными ресторанами, подпольными «катранами», где «герой» небрежно передергивал и одну за другой выкладывал на стол убойные комбинации из таких же как он олеографических персонажей, не было недостатка в женщинах, тоже как нарочно подобранных по мастям; дама червей любила его беззаветно; дама бубей изменяла ему с официантом и получала хлесткую пощечину; дама треф была наводчицей; дама пик сдавала его ментам. Корзун в этом окружении смотрелся чрезвычайно эффектно; когда он вышел, актриса сказала, что будь ее воля, она бы правительственным указом запретила Корзуну играть мерзавцев: «порок в его исполнении так обаятелен, так неотразим, что зритель невольно задается вопросом: а почему бы и нет?»

И тут нас как прорвало: расхохотались все, враз, сперва тихо, потом все громче, громче; у сумрачного Метельникова даже слезы выступили; Настя заливалась как ребенок; актриса дошла до визга, перешедшего в истерику: пришлось успокаивать, давать валерьянку. На шум поднялся Корзун; вид у него был виноватый, испуганный, в выражении лица вдруг проявилось что-то очень искренне, человеческое. Послышался детский плач, Настя поспешила к Люсе, мы с Метельниковым тоже вышли, оставив их вдвоем.

Мы спустились вниз. Холл был прокурен до синевы; говорили вразнобой, каждый о своем. Археолог о черепках, технарь о джазе, кто-то о том, как его обокрали на пляже в Сухуми, актеры кучковались перед камином, бросали в него окурки и все порывались кому-то позвонить, «показаться», рефреном звучало: «талант и случай» – первый подразумевался сам собой, второй должен был вот-вот представиться, «потому что потому!» Ну-ну, негромко, как бы про себя, сказал, опускаясь в кресло, Метельников. Мы сидели в углу, между нами торчал фикус с тяжелыми, как из зеленого пластилина, листьями. Когда я пью вместе со всеми, сказал Метельников, мне кажется, что я все понимаю, что меня все понимают, а сейчас смотрю на них, слушаю и понимаю, что не понимаю ни черта, глянь на них, Толя, они же сумасшедшие, крейзи, половину из них можно тут же увезти в психбольницу, и пусть наутро они попробуют доказать, что они здоровы. В математике есть понятие: мнимые величины, сказал я. Вот-вот, кивнул он, именно так. Но там, сказал я, мнимая величина не знает, что она мнимая, ей, в сущности, все равно, а они все же подозревают, что с ними что-то не так, и оттого мучаются, пьют, сходят с ума. А с нами все так, как ты думаешь? спросил он. Вместо ответа я бросил реплику из какой-то пьесы: пей да помалкивай. Заметано, сказал Метельников.

Это был, наверное, наш последний нормальный разговор. На другой день он уехал и, наезжая в город, только звонил, оправдываясь тем, что «на студии куча дел». Да, говорил я, понимаю, до связи. Один раз оговорился, сказал: поминаю, – голос на другом конце провода пресекся; Метельников был страшно суеверен, и даже надев крестик на крестинах Люси, относился к нему как к языческому амулету: никогда не снимал, не менял заношенный шнурок, даже стирал его на шее, когда принимал душ. Я стал его успокаивать, говорить, что писал в этой связи Зигмунд Фрейд; что вот если бы он, Метельников, сам оговорился, тогда да, а если

кто-то другой, то к нему это не имеет никакого отношения. Нет, вздохнул голос в трубке, как раз имеет: ты меня мысленно уже похоронил: был друг, и нет друга, хотя по сути ты, по-видимому, прав, мы отдаляемся, нас растаскивает как планеты по разным орбитам. Это была наша общая мысль, старая, еще с юности; мы тогда говорили, что вся наша компания сейчас представляет собой нечто вроде газопылевого облака, предшествующего рождению Галактики. И не важно, кто из нас чем занимается, кто что умеет, знает, достиг, мы все звучим как джаз-банда, где каждому исполнителю, на каком бы скромном инструменте он ни играл, все же удается прозвучать так, чтобы его услышали и поняли, что без этого звука композиция была бы неполноценной. Но облако вращается, и через какое-то время начинается расслоение по фракциям, образуются крупинки, они притягиваются, слипаются как стальные опилки вокруг кончика намагниченной иглы, самые горячий сгусток становится Солнцем, остальные, похолоднее, продолжают кружиться вокруг него, но каждый уже сам по себе, по своей орбите. Договаривались и до персоналий: Корзун был, естественно, Марс, Настя – Земля, я – Юпитер, себя Метельников отождествлял с Меркурием от слова «меркур» – ртуть. Такой же зыбкий, текучий, но тяжелый, ядовитый. И вот теперь он уже снимал свой первый фильм, а я как-то неприметно тяжелел и внутренне распускался.

У нас все было; казалось, что так будет всегда, и от этой мысли я тихо сходил с ума. Начал попивать, меня возили по ресторанам; там было легче договариваться. О таких говорят: к нему есть подход – пьет. Один раз, зимой, вывезли на медвежью охоту, поставили против берлоги, ткнули палкой, зверь встал, я убил; ободранный он был очень похож на человека, его шкура теперь лежала у нас в гостиной, и Люся, ползая по ней, запускала пальчики в оскаленную мертвую пасть. Когда меня привозили из ресторана не очень пьяного, я присоединялся к ней, и мы оба начинали ползать по шкуре, визжать, возиться; я внушал Люсе, что она – зайчик, а сам начинал изображать волка: становился на четвереньки, прогибал спину, скалил зубы и плотоядно проводил по губам кончиком языка. Кончались наши игры тем, что Настя уводила Люсю ужинать, а я по-тихому доставал из ручки кресла коньячную фляжку, отпивал сколько было сил, прятал фляжку на место и засыпал прямо на медвежьей шкуре. Просыпался среди ночи в причудливых комнатных сумерках: хотелось пить, мочиться, язык был как брусок для точки ножей, и все это надо было как-то исправлять: вставать на ноги, пить, чистить зубы, принимать душ. Проделав эти, отработанные уже до автоматизма, процедуры, я шел в спальню, ложился в постель рядом с Настей, обнимал ее за плечи. Иногда она отвечала на мои прикосновения, но чаще отворачивалась к стенке, и лишь машинально зажимала под мышкой мою влажную ладонь. Дежа вю.

Играла она тогда мало, и дело было не в ребенке, не в доме; здесь как раз все как-то устаканилось: помогала теща, летом жизнь, быт – все откочевывало на дачу, – играй, не хочу! Но, как в популярном тогда романе Джозефа Хеллера, «что-то случилось». То есть формально, на поверхности, все было вроде ничего: Настя была занята в двух спектаклях пусть не на первых, но и не на последних, ролях; ее приглашали на кинопробы, случалось, она появлялась в эпизодах, но внутри сидел, точил какой-то невидимый червячок: хотелось чего-то не то, чтобы большего, но иного. Так, наверное, бывает с женщинами, выскочившими замуж по страстной мгновенной любви и через какое-то время пораженными банальной бытовой подоплекой вожделенного счастья. И дело, быть может, было даже не в «интригах», не в «двусмысленных предложениях»; к этому мы – именно так: м ы, – внутреннее разделение еще не наступило, – были готовы; я даже забавлялся ее рассказами о похотливых поползновениях какого-нибудь С. или Ф. Нет, тут случилось другое, пропал «кураж»; глядя на Настю на сцене или на экране я видел, что она просто «отрабатывает номер»; так взрослый человек, оставленный наедине с пятилетним ребенком механически катает по полу машинку или ест песочный куличик и с вымученной улыбкой говорит, что это «очень вкусно».

Отчасти способствовал этому надлому Метельников; после Высших курсов он снял детектив с «социальным подтекстом» – фильм был сделан добротно, но как-то очень уж «кондово», без личной «изюминки», так можно было бы стачать сапог или сшить пиджак, – потом попал в «простой», и маялся: заседал в студийном кафе, понемножку пил с актерами, забегавшими в перерывах между съемками, прямо в костюмах, в гриме: букли, пудра, кружева, шелк – «жизнь как жемчужная шутка Ватто». Иногда ему давали дубляж: чужие лица, чужие, с трудом «вколоченные в губы» диалоги, порой тоже весьма корявые, «прокатный лимит», обязывавший сокращать полный зарубежный «метр» до одного часа сорока пяти минут экранного времени – под «ножницы» шли в первую очередь «постельные сцены», следом «пьянки», – Метельников называл такую работу «имитацией». Но тут же поправлялся: все же лучше, чем сидеть в кабаке, так ведь можно и квалификацию потерять. И далее: что, мол, это «не главное», что «режиссер это не профессия, это – харизма, на всем, что он делает, должен быть отпечаток личности, впрочем, это касается не только режиссера».

Настя соглашалась; говорила, «и актеру тоже, да, но тут мужчине легче, есть здесь устоявшиеся типы, «герои», символизирующие то или иное «состояние души», тот же Корзун, на него смотрят, с ним сопереживают те, кто по сути таков сам». Я добавлял, мол, это «как раз то, что нельзя сымитировать, сыграть, это или есть или нет, и все». Метельников кивал: от Бога. Я терпеть не мог слова «Бог»; это понятие представлялось мне таким же фальшивым, как те акты, которые я подписывал: я, эта бумажка, моя подпись – все это были звенья в цепочке причинно-следственных связей, концы которой терялись в «дурной бесконечности»: один, бумажный, уходил в канцелярско-бюрократические дебри, другой, гораздо более весомый, плотский, кольцо за кольцом нанизывал на себя такие мощные, глобальные понятия как «экосистема», «биоценоз», «планета», которая, если взглянуть на нее глазами «твоего воображаемого Бога, вполне может представиться чем-то вроде яблока или какого другого фрукта, пораженного человечеством как тлей». И никто не остановится, не крикнет: доколе?!. Довольно!..

Отнюдь, меланхолически возражал Метельников, многие орут, есть масса специальных заведений, где учат это делать профессионально, громко, чтобы все слышали, и не только слышали, но и видели. Что видели? усмехался я, какой он смелый и талантливый, и какие они в зале ничтожество и дерьмо? Орут-то в основном про себя, тот же Корзун. Но какая личность! Какая харизма! восклицала Настя. Прекрасная тема для кухонных разговоров. Я порой так уставал от этой болтовни, что устраивал себе «дни молчания». Обычно это происходило в один из выходных; я не запирался у себя, не уезжал за город; я прикалывал на рубашку картонную карточку с четко, тушью, выведенным «День молчания», и в таком виде выходил к завтраку. Все домашние, включая Люсю, скоро привыкли к этому «чудачеству», постоянные визитеры тоже, и только какой-нибудь новый гость, а такие возникали довольно часто, сперва косился, поджимал губы, по-видимому относя этот «бойкот» на свой счет, но вскоре осваивался и, выудив из общего галдежа ниточку «своей темы», начинал шумно развивать «тему», не обращая на меня ни малейшего внимания. Я же к концу дня, а чаще уже за полночь, начинал чувствовать себя как человек, бросивший пить, но по слабости духа вынужденный все же торчать в компании вчерашних собутыльников. «О чем говорят, о чем спорят эти люди! немо восклицал я, если бы они хоть на мгновение посмотрели на себя со стороны, послушали, какую несусветную дичь они несут, они бы замолчали не на один день, а заткнулись до конца жизни!..» Я даже как-то тайком записал какое-то очень уж шумное – по случаю настиных именин, – сборище, а потом включил эту запись Корзуну: тот сперва ржал как Сивка-Бурка, но отнеся чей-то приглушенный шепоток на свой счет – опять что-то по поводу «торговли мордой», – резко помрачнел, затих, а потом проворчал что-то в том смысле, что «когда кругом одни козлы и подлипалы, всякий, кто хоть чуть-чуть возвышается…» – нормальная реакция.

А потом вдруг сказал: как иногда хочется начать все с нуля, приехать в небольшой городок, где тебя никто не знает, прийти в театр, показаться, может хоть так можно что-то изме-

нить, а, Толян? Или мы уже как шахтерские лошади: по кругу, по кругу, одна бадья, вторая? У лошади нет воображения, сказал я, она понятия не имеет о том, что может быть еще какая-то другая жизнь. Не скажи, покачал головой Корзун, мне один коновал говорил: к свинье с ножом входишь, к козлу, к барану – не чувствуют, только конь чувствует, понимает, что смерть пришла. Так то смерть, сказал я, жизнь и смерть – разные вещи. Я уже столько раз помирал, на сцене, на экране, что боюсь, когда придет настоящая, тоже приму ее за дубль, сказал Корзун. Как козел, сказал я. Посмеялись.

В то время мы с ним как бы «сели на одну волну»; оба уперлись в некий воображаемый «потолок», когда сил еще полно, но расти дальше уже некуда или как будто некуда; все лучшее, что могло случиться в этой жизни, уже случилось; впереди ровная накатанная дорога, и тебе остается только до упора топить педаль акселератора. Если взглянуть со стороны, то и его и меня можно было бы, наверное, назвать «хозяевами жизни»: мы были молоды, у нас были семьи, мы не думали о деньгах, и лишь мысль о том, что завтрашний день – не по событиям, а по «внутреннему ощущению», – будет как яйцо из-под одной несушки, похож на сегодняшний и на вчерашний угнетала, томила какой-то непонятной, и от этого еще более неистребимой, тоской. Я ведь тоже в какой-то степени мог считаться не только «актером», но и «режиссером», и «автором» тех миниспектаклей, которые изо дня в день разыгрывались в моем кабинете. «Сюжет» всегда был один: «вручение взятки», действующих лиц двое: Дающий и Берущий, и надо было так расписать «диалог», не только словесный, так выстроить «мизансцену», чтобы перед лицом «воображаемого зрителя» (читай: представителя ОБХСС – Отдела по Борьбе с Хищениями Социалистической Собственности), – максимально завуалировать сам «объект», против которого ведется «борьба». Разнились же мы с Корзуном в том, что если его театр сделался уже массовым и народным – народ валил валом именно на Корзуна, – то в моем «камерном вернисаже» публики было немного, да и та отделялась от «актеров» совершенно с виду непроницаемыми перегородками. Но только «с виду»; я знал не только то, за что сняли моего предшественника, но и то, каким методом были получены «улики». При разговоре с очередным «просителем» я нарочито громко включал телевизор, барабанил ручкой по столу, снимал и клал на рычажки телефонные трубки, вскакивал, ходил по кабинету и, доведя «клиента» до нужной кондиции, вполголоса, глядя в глаза, назначал «место встречи»: я догадывался, что меня «пасут», и уже не «смахивал со стола в средний ящик».

А для Насти и Метельникова вопрос: как жить? – оставался еще открытым. Я называл это «инфантилизмом», но чувствовал, что в чем-то они правы; даже немного ревновал: не его к ней, они были уже как брат и сестра, их «роман» был бы сродни кровосмешенью, – я завидовал «тонкости взаимочувствований», которая объединяет людей, пораженных одной болезнью, более того, живущих этой болезнью и с каким-то мазохистским наслаждением обсуждающих ее симптомы. Они переживали, точнее, вместе проживали, одинаковую стадию душевного надлома, а это порой сближает мужчину и женщину больше, нежели самый страстный роман. Это, в общем-то, понятно; роман – состояние не вполне нормальное, ошеломляющее, гребень волны, на верхушке которого захватывает дух, хочется, чтобы это длилось вечно, но волна спадает, приходит отчуждение, порой переходящее чуть ли не во враждебность. Последовательность: красивая женщина, любовница, друг – в реальной жизни чаще не более чем эффектная фраза. Настя с Метельниковым порой напоминали мне Коломбину и Пьеро; когда они сидели вдвоем на кухне, говорили тихими голосами, – в их позах, интонациях было что-то неуловимо тонкое и в то же время ненастоящее, кукольное; нечто подобное было и в Корзуне – сказывалась-таки общая профессия, – ему в этой тройке я отводил роль Арлекина. Так жизнь оборачивалась вечной сказкой, спектаклем, где основные действенные линии прописаны навсегда, а конкретное воплощение замысла невидимого режиссера зависит от исполнителей и автора очередного сценария.

Но автор оставался за пределами площадки, а я присутствовал, и, в соответствии с родом своей деятельности, мог вполне претендовать на роль «деревянного мальчика Буратино». Тем более, что вокруг меня, опять же, в силу обстоятельств, часто крутились не то, чтобы прямые уголовники, но все же полукриминальные, там и сям переступающие черту типы, которые, по сказке, вполне могли сойти и за Лису Алису и за Кота Базилио. С той, быть может, разницей, что они-то сами и вручали мне «мешочки с золотыми червонцами», в обмен на которые валили и увозили целые лесные массивы – «волшебное дерево, обросшее драгоценными плодами». При этом внешне я продолжал блюсти полный «бюрократический чин»: просматривал представленные акты, выезжал на места будущих порубок, встречался с лесничими, местными инспекторами; мы пили водку, охотились, парились в бане, вели какие-то грубые, густо пересыпанные матом, разговоры, после которых я не сразу вживался в хрупкий кукольный мирок нашего дома.

Иногда я даже заставал репетиции. Настя готовила отрывки для показа: из «Ричарда III», из «Дон Жуана». Анна. Молодая вдова. Партнером выступал Корзун; память у него была профессиональная, тренированная, как-то, опять же, на спор, он, не зная ни аза по-английски, за неделю выучил монолог «ту би э нот ту би», где слегка тянул «би-и», а это уже переводилось как «пиво», и весь трагический смысл монолога обращался в вопрос «хроника»: пиво или не пиво? Идиотская калька. Но с Настей он не ерничал, и именно подыгрывал, при том, что в обоих отрывках активным выступало как раз мужское начало. Странно было то, что классическое прочтение при этом не искажалось, напротив, сцены обогащались какими-то новыми тонами: Анна падала не под напором бешеной страсти – этого в Корзуне всегда было с избытком, – она сама хотела уступить, и лишь искала подходящего случая, точнее, партнера, на которого можно было бы возложить вину за собственную слабость. Впрочем, отчасти здесь была заслуга Метельникова; он так чуял фальшь, так тонко вмешивался в «процесс», что со стороны могло показаться, что он не более, чем простой наблюдатель. Я видел, что между ними существуют какие-то совсем особенные отношения, и что тексты отрывков, которые разыгрывали Настя с Корзуном, не то, чтобы маскировали суть этих отношений – ничего предосудительного, порочного, там не было, за это я готов был поручиться, – но обогащали их какой-то иной формой выражения.

Это уже потом, сидя в театре и глядя на сцену, я почти безошибочно различал, какие отношения связывают исполнителей за кулисами, кто кого ненавидит, кто любит, кто готов сожрать «главного героя», чтобы занять его место. И дело здесь было порой даже не в масштабе дарования; разница между плохим и хорошим актерами, как сказал тот же Метельников, та, что у первого в запасе дюжина штампов, а у второго – сотня. Особенно, говорил он, это торчит в кино: картина, которая лет двадцать назад представлялась пределом откровения по манере актерской игры, сейчас режет и глаз, и ухо. Ему возражали я, Корзун, Настя: режет, да, смотрится провинциально, но не из-за штампов, а оттого, что меняется природа чувств и вместе с тем средства их выражения. Мастера кино ищут актеров малоизвестных, не обросших театральной коростой. Иногда берут с улицы, натурально; Пазолини нашел своего Франко Читти в придорожной канаве. Есть «типаж»: собирательный образ «коллективного бессознательного» – попасть в него все равно, что выиграть в лотерею самолет. А дальше все как на ипподроме: ставки на фаворита, номер, идущий с ним почти ноздря в ноздрю неистово освистывают и орут: второй не нужен!.. Второй не нужен!.. Второй нигде не нужен, говорил я, второго не может быть: второго Хемингуэя, Пруста, Фолкнера – авторы, которым тогда многие старались подражать; критики даже говорили: перевели Хэмингуэя, и все стали писать короткой фразой; переведем Пруста и Фолкнера, пойдут периоды на полстраницы.

Так что я участвовал в их разговорах, и все же ощущал себя «человеком со стороны»; Буратино в труппе Карабаса Барабаса. Как-то я явился к финалу; вошел в тот момент, когда Корзун патетически взывал к тени Командора, и парировал вызов тут же, от двери: дон Гуан,

ты звал меня на ужин, я пришел, а ты готов? Последовало знаменитое рукопожатие; моя ладонь оказалась крепче, и я жал его руку до тех пор, пока Корзун уже совершенно всерьез, не по роли, не взвыл: о, тяжело пожатье каменной десницы! Так мы играли, таково, точнее, было наше «эстетическое отношение искусства к действительности». Или наоборот. Или мы вообще их не разделяли; жизнь охватывала оба эти понятия, закатывала их в себя подобно тому как нарастающий снежный ком погребает под своими слоями дворовый мусор.

Но оба показа Настя провалила. Ходили слухи, что здесь не обошлось без участия немолодой актрисы, бывшей подруги Корзуна; после того, как он ее бросил, она пакостила, где могла. Впрочем, и без нее дело с самого начала представлялось мне тухловатым. Не то, чтобы Настя была «не талантлива», или с внешностью были какие-то проблемы, или в ней недоставало какой-то загадки, изюминки, нет, проблема была, как мне кажется, в другом: когда Настя высказывалась, она высказывалась вся, выплескивалась без остатка. Так было на сцене, на экране, так было в жизни; это был ее личный «стиль», и он порой настолько выбивался из сложившихся, принятых в той или иной среде поведенческих стереотипов, что как актрису ее могла спасти только гениальность уровня Анны Маньяни, а этого как раз и не было.

В этот период Настя лучше всего подходила под типаж «вечной любовницы» с перспективой «матери-одиночки», но в кино эта ниша была уже плотно обжита чуть ли не полудюжиной истеричек, смотревших с экрана так, как смотрит на хозяйку недоенная корова; в городских театрах все было уже «схвачено», а для отъезда в провинцию уже не хватало «куража». Мне даже кажется, что на провал все трое были подсознательно настроены с самого начала; как-то уж очень самопально смотрелись все эти домашние «штудии»; но, как говорил потом Метельников, переживавший, по-моему, больше всех, «всякую идею надо доводить до конца, чтобы иметь право сказать: я сделал все, что было в моих силах». Почему же ты тогда не снимаешь кино по средним сценариям? спрашивал Корзун, неувязочка выходит. Потому что это чужие идеи, отвечал Метельников.

После настиного провала он несколько раз составлял мне компанию, когда я ездил по своим лесным делам: лазал по буреломам, по болотам, помогал мне замерять площади вырубок, считал всхожесть елочек или сосенок на лесных посадках, стоял на «номере» в волчьей облаве, а один раз так близко подобрался к токующему на осине глухарю, что сперва снял его на пленку, щелкнув затвором в тот момент, когда тот заходился своим булькающим клекотом, а уже потом выстрелом сбил птицу с ветки. Застрелил, а вечером, за столом у лесничего, пил водку под того же глухаря и сокрушался: зачем?!. зачем?!. главное ведь подкрасться… как лиса, как Маугли, так, Николаич (это к лесничему, отвечавшему: это точно)… а с пятнадцати метров да еще и с дробовика да это любой дебил… так, Николаич?.. Это точно. И уже не совсем было понятно, с каким из этих тезисов он соглашается. Со своей колокольни Метельников, естественно, представлялся ему слегка чокнутым, но слова «режиссер», «киностудия», «съемки» оказывали на его простую грубую душу действие гипнотическое; так что в итоге Николаич рассудил, что Метельников «косит под придурка», и на всякий случай занял соглашательскую позицию: поднимал стопку, чокался, выпивал, закусывал щепотью квашеной капусты и, сняв с прокуренных усов мокрые бледные лохмотья, басил: прав ты, Витальич, хреново это, очень хреново!

Метельников слушал, слушал, а потом вдруг ляпнул ладонью по столу: так почему ж вы, так вашу мать, делаете, если хреново?.. Лес в реках гноите, на вырубках черт-те что оставляете, браконьерите, рыбу толом глушите, сетями ловите на нересте?!. Да потому что такие мы все твари! сказал лесничий, тут ни одного нормального нет, все зэки, и дети у них будут зэки, и дети их детей будут зэки, и так далее и так далее – до бесконечности. И ведь был прав, по-своему, грубо; народ-то в большинстве своем действительно бывшие зэка, люди «сто первого километра». Есть с семьями, а есть и одинокие, живущие в «общаге» – половине казенного дома, отделенной от апартаментов лесничего толстой бревенчатой стеной. Железная койка,

тумбочка, сигареты «Прима», аванс, получка, хлеб, яйца, местная водка, дерущая горло как наждак и мятным холодком бьющая в мозжечок после каждого глотка – что спрашивать с таких людей? После кассы они тут же рвутся в магазин, хватают водку и пьют ее так, словно это вода, а они – моряки, подобранные в море через месяц после кораблекрушения. И ведь Метельников все это видел, сам, собственными глазами, так нет, завелся, стал кричать, что мы все такие, «халявщики от Бога», холуи, рабы, что нас в пустыню надо, и не на сорок лет, а на все четыреста, «не одно колено в песок втоптать, а десять, с бедуинами скреститься, с павианами, с верблюдами, гены обновить, и выйти чистыми, свободными». Я представил эти гибриды: кентавры от Иеронима Босха или Сальвадора Дали – благодарю покорно.

Пока они дискутировали, пришел водила, местный, возивший лес на КАМАЗе. Присел к столу, я налил ему водки, он выпил, стал шептаться с Николаичем, и я понял, что он завалил лося, забрал свою часть, а остальное лежит в лесу, и что его надо скорее забирать, потому что там «вроде как медведь». После этого он ушел, а мы стали собираться, надели сапоги, ватники, взяли мешки, фонари, ружья. Шли гуськом, узкой тропкой, спотыкаясь о корни, кочки, выставляя руки перед собой. Лось лежал недалеко, километрах в полутора, от него осталась уже только передняя часть; заднюю, по местным законам, забрал шофер КАМАЗа. Уже светало; небо над голыми верхушками берез наливалось ртутным блеском; а мы трое возились над лосиной тушей, срезая с костей и позвонков кровавые куски и бросая их в холщовые мешки, заскорузлые от соли, крови и грязи. Где-то совсем рядом хрустнул сучок, что-то как будто рыкнуло; Николаич встал над лосиной головой – он вырезал язык, – поднял с кочки свою двустволку, взвел оба курка, мы тоже замерли, потянулись к ружьям, но звуки не повторились, и мы вернулись к нашему прерванному живодерству. Воздух пах кровью, свежей печенью, мхом, торфом; где-то в стороне деревянно дребезжал бекас; пальцы мои слипались от подсыхающей крови; я ел сырую печень и понимал, что мало чем отличаюсь от волка или медведя, который, по-видимому, все же топтался где-то неподалеку и ждал, когда мы уйдем.

Это был последний случай, когда Метельников ездил со мной в поездку. До этого он все носился с моим, точнее, нашим общим, сценарием, и ездил-то, как я понимал, для того, чтобы «вжиться в фактуру». Старался изо всех сил, даже сырую лосиную печень ел со мной в предрассветном лесу. Не помогло, хорошо хоть, не стошнило. Но случилось нечто гораздо худшее: он сломался. Иногда мне казалось, что ему даже трудно дышать, а не то, чтобы ходить или говорить – какое уж тут кино! Где-то я читал анкету: полтора десятка пунктов, по которым американцы определяют пригодность человека к режиссерской профессии. Первым стояло: железное здоровье. Пункт «высшее образование» шел последним, – в скобках было приписано (не обязательно). Метельников в этот период соответствовал пунктам пяти-шести, считая снизу. По фазе он теперь догнал Настю, но если та больше молчала, то он, напротив, весь исходил на разговоры. Они так иногда ночами и просиживали на нашей кухне; я уходил спать, Настя молчала, а он пил сухое вино, прикуривал сигарету от сигареты, и говорил до тех пор, пока она не уходила постелить ему на диване в гостиной. Порой у меня даже возникало чувство, что звучание собственной речи необходимо Метельникову для ощущения достоверности собственного существования.

Иногда его визиты затягивались на несколько дней; я уезжал по своим лесным делам, но они как будто не замечали этого; время для них словно остановилось, и не было разницы между неделей и парой часов. При этом я мог поручиться, поклясться на чем угодно, что «романа» между ними не было: переход к физической близости требует известного избытка душевных сил, а этого как раз и не было. Впрочем, и на этот счет у Метельникова была своя «теория»; он говорил, что мужчину и женщину толкает в постель «дефицит информации», и что вероятность этого обратно пропорциональна возможности получения информации «любыми иными путями». Дальше шли рассуждения о «пристройке», «борьбе», «предоставлении инициативы»,

и в итоге выходило, что «современный герой» в отношениях с женщиной чаще всего выступает как скрытый импотент и вялотекущий шизофреник.

К Корзуну это не относилось; его «обаятельный мерзавец» кочевал из эпохи в эпоху, менял страны, костюмы, континенты и «трахал все, что шевелится». Ходили слухи о его бесчисленных «романах», о начинающемся циррозе печени; осенью Корзун во второй раз женился и то ли подшился, то ли «закололся», но так или иначе оба слуха постепенно сошли на нет. Мы были на его свадьбе в симпатичном загородном кафе с видом на озеро; гостей было человек сорок-сорок пять, половина актеры, свадьба была похожа на студийную массовку; невеста была из Дагестана, национальный обычай запрещал ей выходить замуж за русского, но она нарушила запрет, и потому с ее стороны были только две землячки, учившиеся в педиатрическом институте. Шептались, что Корзун чуть ли не умыкнул невесту во время летних гастролей по Северному Кавказу, и что если его не добьет цирроз, то достанет «булат или пуля осетина». Эту болтовню он не пресекал; в Дагестане они давали «Героя нашего времени» с Корзуном-Печориным, и он, по версии Метельникова, «как всегда перестарался».

Это, я полагаю, было верно лишь отчасти; на свадьбе Корзун выпил лишь один бокал шампанского; говорили, что невеста поставила жесткое условие: будешь пить – уйду! – и когда через пару лет после первого в своей карьере эстрадного концерта Корзун приполз домой «на бровях», Миля (полн. Мелония) сдержала слово с восточным упорством: утром ни ее, ни сына в квартире не было. Корзун отыскал их через неделю, подняв на ноги чуть ли не всю городскую милицию, но общался, как говорили потом сами менты, только через замочную скважину: сперва уговаривал, потом рыдал, потом грозился вынести дверь вместе с косяками, а когда и это не сработало, раздал ментам по четвертаку на рыло, вышел, взял такси и «свинтил в неизвестном направлении».

Так под утро он оказался у нас; звонок, вопреки обыкновению, был какой-то нерешительный; так, наверное, звонил бы в наши дни блудный сын, вернувшийся под кров отчего дома. Ему открыла Настя; света на площадке не было, но Корзун был так бледен, что лицо его казалось светящимся и выступало из полумрака как посмертная маска. Он ничего не говорил, но мы и так многое знали, а об остальном догадывались: от многолетнего актерства лицо Корзуна приобрело такую пластичность, что сделалось похоже на открытую книгу, где можно было прочесть не только самую общую «сюжетную канву», но и чуть ли не по часам воссоздать «хронику последних событий».

Первый час он молча принимал все, что ему давали; Настя успокаивала, он слушал; я наливал рюмку коньяка, он выпивал; потом вдруг завелся, стал кричать, что «много они там о себе понимают, на своем Кавказе!», что он тоже может «и на коне, и из винта палить, и кинжал втыкать с десяти метров, натаскали на съемках, всяких играл, даже на абрага пробовался, Дату Туташхиа, своего взяли, ясное дело, я не в обиде, мне рог подарили, бурку, папаху, кинжал, поеду, надену, украду коня, и в горы, в пещеру, пока они не вернутся!» Так что началось чуть ли не оперетткой, а кончилось белой горячкой и попыткой суицида, через сутки на загородной даче; хорошо, менты сообразили: выследили, «сели на хвост», и когда Корзун на мотоцикле сиганул в озеро с понтонов, выловили его, благо там было не очень глубоко, привели в чувство, вызвали по рации «неотложку», и та уже отвезла Корзуна в психушку, где его как «заслуженного артиста» поместили в отдельную палату и продержали до полного протрезвления и успокоения.

На это ушло недели три; часто присуствовал психолог, точнее, психиатр; выяснилось, что Корзун в своем амплуа почти уникум, и в театре опасались, что если он окончательно свихнется, из репертуара придется на какое-то время снять несколько самых модных спектаклей, а это сильно скажется на сборах. Но несмотря на все усилия, опасения-таки сбылись, пусть не полностью – Корзун вышел из больнички вполне «адекватный», – но частично: изменился так, что первый же его выход в одной из прежних ролей сперва погрузил зал в полную тишину,

потом по рядам побежали недоуменные шепотки, а когда упал занавес, галерка взорвалась свистом, напрочь заглушившим жиденькие аплодисменты партера и амфитеатра. Но сам Корзун, казалось, совершенно не заметил своего провала; после выхода он не то, чтобы притих – Метельников не без основания относил это на счет амфетамина и прочих антидепрессантов, – но как будто сделался даже чуть ниже ростом. Последнее впечатление, как я полагаю, тоже создавалось за счет душевной метаморфозы: сосредоточенный в себе человек как правило сильно сутулится, – а Корзун выглядел как раз таким человеком. Он не то, чтобы поумнел – дураком он, в общем-то, никогда не был, – но его ум, до того быстрый, временами даже блестящий – чего стоили одни его розыгрыши и пари! – как будто переменил направление. Вместо денди, авантюриста, бретера перед зрителями, друзьями, просто знакомыми предстал задумчивый мудрец, ученый, шахматист, физик, погруженный в такие интеллектуальные и духовные бездны, на фоне которых проблемы простых смертных представляются чем-то вроде пыли, покрывающей лапы гигантских сфинксов. Перемены отразились и на лице; он сделался одновременно похож и на врубелевского «Отдыхающего демона» и на молодого Владимира Соловьева на портрете Крамского.

Иногда мне казалось, что он и здесь немножко «представляется», наигрывает по старой привычке, точнее, любви к «блефу как таковому»; тем более, что соблазн был велик: Корзун не фигурально, а вполне реально прошел «огонь, воду и медные трубы», так что его нынешний облик как нельзя более отвечал представлению о «кающемся грешнике». Или даже ветхозаветном Экклезиасте с его неустанным рефреном: все суета сует, и нет ничего нового под солнцем. Метельников, глядя на него, сформулировал собственную «концепцию личности»; стал говорить, что «жизнь есть наращивание некоего эфирного тела внутри тела физического», что предшествующий духовный опыт диктует человеку поступки, от которых опять остается «духовный остаток», который добавляется к уже существующему опыту, как-то изменяет его, образуя новое «качество духа», которое, в свою очередь, диктует выбор очередного поступка, тот «влияет на дух», и так далее, и тому подобное: шаг вперед – два назад. Я припоминал остатки академической математики; выстраивал на бумаге, чаще в секторе расписанной «пульки», ряд несложных формул, подставлял значения, т. е. известные нам с ним поступки Корзуна, брал «интеграл»: выходило, что Корзун хоть и лицедей, и что каждая его выходка, вплоть до таких мелочей, как пари на огнеупорность часов, «бьет на эффект», но сама «натура» слабовата, и уже почти не в силах поддерживать «имидж», который сложился к его двадцати девяти годам и который требует постоянного «подкрепления». Вспоминались известные актеры, начинавшие как супермены и вынужденные оставаться таковыми до весьма почтенного возраста; кому-то это удавалось, кого-то хватал инфаркт, инсульт, причем чаще всего внезапно, лет в пятьдесят – вполне еще рабочий, цветущий возраст.

Но Корзуну, казалось, стало вдруг плевать на собственный «имидж», точнее, на тот «образ», который он с такой небрежностью, даже лихостью, переносил из фильма в фильм. От предложений такого рода он, впрочем, не отказывался, но если пробы оказывались неудачны, а чаще всего так и случалось, нисколько не переживал; напротив, когда он после очередного «облома» возникал в наших дверях, мне казалось, что он испытывает облегчение должника, рассчитавшегося с кредитором. С ним сделалось легко; если раньше от него исходила мощная подавляющая «волна», то теперь, напротив, он сам настраивался под «чужую волну», причем любую: дурачился с Люсей, сосредоточенно слушал заумные сентенции Метельникова, мог молча просидеть весь вечер, стал равнодушен к вину, а когда я как-то взял его в инспекционный рейд, так душевно поговорил с захваченными в лесу вальщиками, что те, казалось, готовы были тут же бросить свои пилы и топоры и начать приживлять на свежие пни порубленные ими сосны и ели. Действовало, впрочем, и то, что для них он был кумир, герой отечественных «вестернов», и слова о «гуманном отношении к природе» в его устах приобретали особый вес. К тому же его окружало какое-то совершенно особое обаяние, некая врожденная «харизма»;

люди, обладающие такого рода свойством могут нести любую дичь и при этом всегда, в любой компании, быть в центре внимания.

Одна Настина подруга, весьма посредственная, но очень красивая актриса, случайно оказавшись в нашем доме в компании тестя и его дипломатических коллег, стала вдруг весьма натурально описывать, как ей делали один из ее бесчисленных абортов и «продержала публику» чуть ли не сорок минут. Я сидел как на шиле, держал в пальцах налитую до краев рюмку, пару раз порывался перебить ее рассказ каким-нибудь дурацким тостом, но, мельком оглядывая гостей, с удивлением видел в их глазах некий лунатический блеск, сходный с тем, какой бывает у сомнамбул на сеансах массового гипноза. Нечто подобное наблюдал я и на лицах лесников, слушавших Корзуна; сильный аргумент в пользу теории, доказывающей, что гипнабильность есть некое общее биологическое свойство Homo sapiens, не зависящее от социального статуса и уровня интеллекта. В прошлом веке такие как Корзун часто уходили в монахи и заканчивали свой путь отшельниками, старцами; я полагаю, что его удерживала от этой метаморфозы не столько привязанность к житейской суете, сколько мысль о том, как бы этот шаг не восприняли как своего рода сверхлицедейство; аутогипноз, совершаемый под обаянием таких литературных персонажей как отец Сергий или старец Зосима. Хотя «соблазн», как он сам выражался, был велик, но сомнения в силе духа, потребного для такого «подвига», удерживали Корзуна «в миру». Риск «возвращения в свет» был еще слишком велик; а это уже можно было трактовать как «поражение», сама мысль о котором была для него совершенно невыносима. Это была, пожалуй, единственная черта, оставшаяся в нем от прежнего Корзуна; так в окуклившейся, запаковавшейся в хитиновый кокон гусенице, в процессе превращения в бабочку переваривается все, кроме нервной системы.

«Системное», в этом смысле, сходство прослеживалось и в иных чертах его переменчивого облика; если раньше, в виде «гусеницы» Корзун «пожирал жизнь» как капустный лист, то теперь «питание» его сделалось более утонченным; шумные эстрадные шоу сменились камерными поэтическими вечерами: он читал Пастернака, Мандельштама, Гумилева, Блока, бледный, без грима, на фоне кулис цвета темной охры – рембрандтовские фоны как символ вечности, на поверхность которой то всплывают, то вновь исчезают смутные человеческие лики. На какое-то время он, как мне показалось, даже сделался чуть ли не аскетом; во всяком случае к нам он являлся всегда один, и слухи – вечные прилипалы любого паблисити, – не приписывали ему никаких новых связей. Трепали, правда, что он похаживает «по старым тропам», гулял по устам даже какой-то пошлый «списочек», но я в это не верил, ибо это тоже можно было отнести в разряд «поражений». Да, порой его действительно видели в городе в обществе какой-либо из прежних любовниц, но город, как известно, тесен, и от случайных встреч и лишних глаз никто не застрахован.

Корзун пробовал маскироваться: сбрил усы, укоротил волосы, выходя в город закрывал поллица тонированными, купленными на гастролях в Осаке, очками; с гнутой пенковой, видной на трети его фотографий, трубки перешел на «сталинские» папиросы «Герцеговина Флор», но когда и этот «облик» был «отождествлен» или, выражаясь юридическим языком, «идентифицирован», плюнул, отрастил опять усы, подарил очки моему знакомому лесничему и вернулся к трубке, которую стал набивать табаком от выпотрошенных папирос, повторяя в этом Сталина, к которому относился со смешанным чувством ненависти и восхищения. Ненависть была основана как на «личном» – на раскидистом генеалогическом древе Корзунов кое-где торчали тупиковые веточки с лагерными табличками на обрубленных концах и многоточиями на датах, – так и на общечеловеческом, высшем: «Мандельштама ему никогда не прощу». При этом Корзун, в отличие от большинства представителей окружающей его «культурной среды», был отнюдь не склонен к упрощенным, «обывательским», трактовкам личности «великого диктатора»; говорил, что на этом «энергетическом», пользуясь терминологией Метельникова, «уровне», сама по себе «персона» уже не может рассматриваться чисто как «человек»;

она есть, скорее, некий «символ нации», такой же как Наполеон, Тамерлан, Моисей, сообщающий как всему народу, так и каждому его отдельному представителю, не просто «смысл существования», но и некое «высшее предназначение», во имя которого большинство не просто гибнет, но воспринимает собственную смерть как исполнение «божественного предначертания». Наши отцы, говорил он, несмотря на все потери и великие страдания, в глубинах своих душ всегда будут связывать это имя с героическим периодом нашей современной истории, и мы всегда будем явно или тайно завидовать им, играя перед камерой или рампой в наши игрушечные войны. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали всеблагие как собеседника на пир».

Метельников мрачнел от этих речей, но сидел молча; он считал Сталина врожденным параноиком, жалел, что при какой-либо из «экспроприаций» его не пристрелили как бешеного пса, но это была не «другая трактовка» или «взгляд», а совершенно иное «чувство истории»: спор на таких позициях был абсолютно бесплоден и чреват скорым переходом на личности. Пикировались по частностям, не в историческом, а скорее, «анекдотическом» ключе. Корзун сравнивал Сталина с Моисеем: народ, пустыня, скрижали, сорок лет до третьего колена; Метельников корректировал даты: сорок не выходило, даже тридцать натягивалось едва-едва. Корзун аргументировал «мафусаиловым веком»: библейские патриархи, как известно, считали возраст на сотни и рожали детей вопреки всей нынешней физиологии, даже после прекращения «известного женского». К тому же, согласно новейшим данным, Земля тогда вращалась чуть быстрее. Вот-вот, подхватывал Метельников, была круглее, холоднее, без «парникового эффекта», несомненно сократившего людской век и ускорившего смену генераций. Да и «скрижали», как выяснилось, он утаил, развивал свою мысль Метельников, сочинил вместо них нечто совершенно противоположное, а это в юридической практике называется «подлогом» и относится к разряду мелкой уголовщины, вроде карточного шулерства или карманного воровства. Народ, язвил он, купили обещанием подарить страну, а он стащил ее и сунул в карман, а потом стал методично изводить подельников. Как клопов. И нечего тут идеализировать, как был вором и бандитом с большой дороги, так таким и остался. Так «анекдот», просто в силу «закона саморазвития», перерастал в «трагифарс», а в этом жанре Корзун и Метельников были примерно равными соперниками: первый представлял «героическое» начало, второй его пародировал.

Я занимал в их споре нейтральную позицию, и не потому, что меня мало занимала «политика задним числом» – дух куммулятивен, прошлого для него не существует, есть лишь «мгновенная конфигурация эфира», включающая в себя ВСЕ СОЗНАНИЕ того или иного индивидуума. И здесь я наблюдал именно столкновение «сознаний», точнее, «самосознаний», включающих в себя разницу темпераментов, жизненных «кредо», в общем, всего того, что в совокупности образует некий ощутимый, представляемый для общения, образ. Юнг выделил четыре таких «совокупных» типа: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик; в реальности их «ареалы» слегка наползают друг на друга: Корзун был по преимуществу сангвиник, в споре или на сцене разогревавший себя до «холерического уровня»; Метельников приближался к меланхолическому типу, но по гороскопу был Тельцом, вылез на свет божий с восходом Солнца, но при ущербной Луне, а при таком раскладе визуальный образ как правило прикрывает темные сангвинические глубины. Короче, как человек, он был в сравнении с Корзуном более скрытен, но и более «многослоен»; была в нем какая-то тайная притягательность, в том числе и для женщин, так что если бы кто-то из них, предположим, сделался настиным любовником, то связь с Корзуном обнаружилась бы гораздо скорее, нежели с Метельниковым; не исключено, что «второй вариант» так навсегда и остался бы тайной не только для меня, но и для всего нашего «круга».

Но ни первого ни второго не могло быть по определению, точнее, по старому средневековому постулату: «этого нет, потому что этого не может быть, потому что этого не может

быть никогда». Корзун так и резал: переспать с Настей? Да она для меня как сестра! Метельников формулировал тоньше: мы так хорошо знаем друг друга, что нам это уже не нужно. И в том и в другом случае физиологический акт трактовался с позиций театрального ремесла как один из способов получения «информации» о партнере. При этом Корзун постоянно что-то играл, репетировал, снимался, готовил в театре замены на те свои роли, которые уже не соответствовали его «новой личности», т. е. в этом смысле он по-прежнему оставался человеком цельным, не проводившим разделительной черты между «существованием» и «мыслью». Он представлял собой как бы реальное воплощение спинозовского принципа «мыслесуществования» как динамического единства – cogito ergo sum, – где средний член формулы трактуется не как знак модального перехода «следовательно», а как обозначение тождества начального и замыкающего элементов.

Я даже полагаю, что такого рода состояние и есть вожделенная «гармония», трудно, случайно, краткими вспышками, озаряющая потемки человеческих душ и оставляющая после себя призрачные блики воспоминаний, подобные тем, что какое-то время мерцают на сетчатке глаза после взгляда на солнце или спираль лампочки накаливания. Воспоминания тревожат, раздражают душу; мгновения счастья представляются неповторимыми, недостижимыми, и искусство как таковое, независимо от жанра, технических средств как раз и занимается тем, что фиксирует эти мгновения если не на «вечность», то, по крайней мере, на физический срок жизни материала, взятого для создания конкретного произведения. Спорт в этом отношении чем-то сродни искусству; спортсмен тоже стремится к победе всем своим существом и на пике своих сил, приближаясь к рекорду, в какой-то мере сообщает зрителям то состояние гармонии и высшего блаженства, которое переживает сам. Метельников, наверное, потому и отставил актерскую карьеру, потому что никак не мог слиться воедино с самим собой, играл холодно, сухо и как будто не передавал текстом состояние своего персонажа, а читал лекцию от его имени. Впрочем, он и как режиссер почти ничего не снял и по большей части сидел в простое, но при этом регулярно являлся на студию, заглядывал в сценарный отдел, получал папку с очередным сценарием и потом долгое время таскал эту папку под мышкой, листал ее, сидя за дальним столиком в студийном кафе и, дождавшись случайного визави, тонко и умно разбирал тот или иной прочитанный эпизод: брал ракурсы, описывал кадры, расставлял акценты, монтировал и так, почти в буквальном смысле, «живописал словами», что перед слушателем – рыцарем, гусаром, фрейлиной, монахом: массовка, забегая в кафе, не переодевается в «гражданку», – возникало настолько реальное «кино», что, случалось, визави тут же начинал напрашиваться на участие в грядущих съемках.

Но до них дело обычно не доходило, и не потому, что «Москва рубила сценарий» или лопалась смета, нет, причина здесь, я полагаю, была чаще всего в том, что за месяц-полтора этих посиделок весь метельниковский темперамент исходил «на разговоры», и воплощать свои фантазии в реальные кадры ему становилось уже скучно.

Я видел, как его мучает эта невоплощенность, раздвоенность; видел как он прячет свои мучения под масочкой смутно сознаваемого, но недоказуемого, превосходства, как страдает от необходимости напяливать на себя эту масочку при каждом, т. е. почти ежедневном «выходе в свет». При этом за многие годы мы, все четверо, уже так хорошо изучили друг друга, что, оказываясь вместе за нашим кухонным столом, могли часами болтать о чем угодно, кроме самого больного, но при этом иметь в виду именно это, наболевшее. Я даже как-то в шутку предложил Метельникову «сменить среду обитания», вырваться хоть на время из вечного студийного «карнавала», где знакомые лица в костюмах и под гримом выглядят как восковые персоны, а разоблаченные сереют и делаются похожи на пустые шкурки-выползки перелинявших весенних гадюк. Он сказал, что подумает, а через пару дней позвонил и спросил, не имел ли я в виду какое-либо из областных лесничеств, желательно подальше, поглуше.

Я сказал: да, – но не совсем «медвежий угол», хотя были и такие, а что-то среднее, небольшой лесорубный поселочек, с библиотекой, школой, бревенчатым клубиком, у реки; и он, и Корзун к своим тридцати трем достигли примерно одинаковой стадии «жизни духа», и обоим, по моему мнению, рано, а то и вовсе ни к чему, было уходить в «пустыню». Это выглядит соблазнительно лишь в воображении, со стороны; на практике городского человека хватает месяца на два, на три, потом он постепенно мрачнеет, начинает тосковать, делается косноязычен, почти не контактен, порой не адекватен, и в результате, по возвращении в город какое-то время как бы реадаприруется к привычному для него окружению. Я видел чуть дальше своего друга, и потому через пару недель привез его в небольшой, изб в сорок-пятьдесят, поселочек при устье болотистой речушки, впадавшей в длинное, изогнутое косой, озеро с низкими, заросшими камышом, берегами.

Ехали мы сперва поездом, на полустанке нас подхватил на «газике» местный егерь, довез до пристани, и уже оттуда, на катере с пластиковой рубкой и развоенным как ласточкин хвост «Веселым Роджером» на кончике антенны рации, его сын за полтора часа доставил нас в конечный пункт. Всю дорогу Метельников был счастлив и хватался за все как дитя: первым бросался толкать завязший на песчаном взгорке «газик», напросился порулить катером, потом бросил за борт тяжелую щучью блесну, а когда на подходе к поселку леска за кормой резко натянулась и согнула в серп короткое пластиковое удилище, сперва заорал от неожиданного восторга, а потом так умело отпустил катушку, что рыба, судя по натягу, крупная, не оборвала поводок с ходу, а постепенно вымоталась и дала подтянуть себя к широкому зеву крупноячеистого, натянутого на проволочный обод, сачка.

Я тоже радовался, глядя на него; я еще никогда не видел его таким, и мне было приятно от сознания, что я тоже каким-то образом причастен к рождению этого нового, неизвестного доселе не только мне, но и самому Метельникову, человека. Похоже, что в те мгновения, когда рыба за кормой катера начинала метаться и резать лесой мелкую, темную как яшма, волну, Метельников и достигал высшего пика той самой гармонии, о которой мы так долго и витиевато рассуждали на нашей кухне. Сравнение с Хемингуэем напрашивалось само собой, но отдавало инфантилизмом; нам было хоть пока и немного, но все же за тридцать; и праздник беспечной юности, «который всегда с тобой», уже начинал понемногу отплывать в область воспоминаний.

Впрочем, у меня это чувство было, наверное, развито чуть больше, чем у Корзуна, Метельникова и Насти. Объяснялась эта разница вполне естественно: они, в отличие от меня, по большей части имели дело с материями хоть и тонкими, высокими, сложными, но проживали их не всем существом, а каким-то верхним, легким «слоем натуры»; вся их «кровь» в итоге все же оборачивалась тем же «клюквенным соком»; я же имел дело с реалиями вполне земными: на моих глазах поднятый из берлоги медведь задрал егеря, ружье которого дало осечку; один раз я в почти в упор, в пяти шагах, застрелил бегущего на меня секача; иногда я получал в свой адрес вполне конкретные угрозы, и порой, выезжая в глухие углы, вместе с папками и бумагами укладывал на дно кейса положенный мне по должности «ТТ» в кожаной кобуре. Так что если в их случае фраза «люди-звери» звучала как застарелый штамп, то для меня это была повседневная реальность, такая же привычная как кровь для мясника на бойне или нечистоты для ассенизатора. При этом я уже настолько вжился в эту реальность, настолько перестал разделять себя с ней, что если бы кто-нибудь, тот же Корзун, ляпнул, что мои лесные вояжи с ружьями, сетями, увязающими в болотах «газиками», одышливыми мотовозами на шатких, брошенных на сырые шпалы, узкоколейках, катерах с «Веселыми Роджерами» на стальных антеннах – по сути представляют собой те же хемингуэевские сафари, я бы, наверное, послал его на «три буквы».

Я бы сказал, что это просто очень «грязная работа», но если уж где-то «там», в неких «высших сферах» было решено, что кто-то должен ее делать, то пусть уж это буду я, потому

что хоть я и «беру», но делаю это с разбором, всегда держу в сейфе приличную «заначку» для «разруливания» сложных коллизий и худо-бедно, но все же «контролирую ситуацию».

Мы даже как-то сцепились по этому поводу с Корзуном. Настя тогда была в некоторой прострации после своих неудачных показов, и я, желая хоть как-то ее подбодрить, стал в наших кухонных посиделках развивать тезисы типа: театр есть не более, чем «словеса», «салон», «приложение к буфету», «чего изволите: утешение для одиноких перезрелых дев? – пжалста! Для закомплексованных холостяков? – нет проблем! А то и другое в «одном флаконе»? – извольте!». Своего рода «кабак для души», с табличкой на стеклянной дверце: «Приносить с собой и распивать в зале спиртные напитки строго воспрещается!» А если не «распивать», а просто «выпить»? – стал ерничать слегка поддавший Метельников. Но Корзун эту линию не поддержал, напротив, посуровел, стал говорить: а почему бы и нет? Они что, не люди: девы, холостяки? Люди, не спорю, сказал я, но не дети, которые могут утешиться какой-нибудь сентиментальной рождественской сказочкой. Но ведь утешаются! настаивал Корзун. Да, сказал я, на время сеанса, не более, а потом выходят из зала и получают опять «по полной программе». Критиковать легче всего, вступила Настя, что ты предлагаешь? Потрясение, сказал я, В любом человеке каждое мгновение совершается выбор, Фауст продает душу черту, быстрому, как переход от добра к злу, и каждый про себя точно знает, когда он делает уступку подлости, трусости в себе, а когда одолевает их, но борьба идет скрыто, вяло, как торфяной пожар, и задача театра довести эту борьбу до такого градуса, чтобы человек наконец на что-то решился, но сделал это уже сам, осознавая, что поступает сознательно и свободно. Клавдий в «мышеловке», сказал Метельников, зрелище – петля, чтоб заарканить совесть короля! Но ведь он после этого решает, что с Гамлетом надо как можно скорее покончить, сказала Настя. Да, сказал я, но зато всем стало ясно, какая он мразь! Хотелось бы только знать, осознает ли сама мразь, что она – мразь? задумчиво пробормотал Корзун. Вне сомнения, сказал Метельников. Я даже кажется понял, кого он имеет в виду – был на студии один плешивый тип, трахавший молоденьких девиц за перспективу кинокарьеры, – но, впрочем, у каждого из нас был собственный знакомец, олицетворявший данное понятие.

И еще мы говорили о том, что возможность выбора есть всегда, но за выбором должен последовать поступок, отрицающий альтернативный вариант. С этим дело обстояло сложнее: человек может всю жизнь промучиться на нелюбимой работе, страдать от сварливой жены или стервозной тещи, но так и не решиться порвать со всем этим и кинуться в спасительную неизвестность. Спасительную, как воздух для утопающего, или губительную, как смерть? Бороться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Опять же: «неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался…» Гамлетизм в чистом виде, и если средневековый датчанин для разрешения вопроса хватает шпагу, а мы размениваемся ругательствами, то это не более чем разница темпераментов, которую как раз и призван нивелировать настоящий театр. И вывод делался, разумеется, не в пользу существующего порядка вещей.

Затевая эти диспуты, я так или иначе вел к тому, чтобы утешить Настю в ее неудаче. Мол, если дела обстоят так скверно, то есть внешне вроде бы неплохо, но по глубинной сути фальшиво, обманчиво, то нечего было туда и рваться. Но сработал эффект «от противного»; Настя не то, чтобы стала защищать то, что представало на экране или подмостках, нет, она сделалась адвокатом от имени «зрителя», некоего обобщенного среднестатистического персонажа, обывателя, которым порой в большей или меньшей степени ощущает себя каждый из нас. Мол, если «его» это устраивает, если «он» за это платит, то и надо предоставлять «ему» желаемое. Так тогда это не искусство, возражал я, а «сфера услуг», такая же как химчистка, парикмахерская, баня, и подчинить ее следует не Министерству культуры, а Министерству коммунального хозяйства. Настя злилась на мои дурацкие – каюсь! – шутки; говорила, что большинство-то как раз больше всего и боится как раз того, на чем я больше всего настаиваю: свободы выбора;

все хотят ее только на словах, кричат: свобода! свобода! – а дай им эту свободу, и что? Этот «тезис» я понимал вполне конкретно: в лесах мне случалось беседовать с бывшими зэками, которые порой, чаще по пьянке, признавались, что выйдя «на волю» первое время никак не могли привыкнуть к тому, что здесь каждый шаг, даже самую мелочь, вроде покупки бутылки водки или поездки на автобусе в райцентр надо решать самостоятельно. Мы все как те зэки, мрачно замечал Метельников, только зона побольше. Не обобщай, резал Корзун, говори за себя. Разговоры, разговоры. Иногда мне казалось, будто мы только то и делаем, что говорим, меняются лишь декорации: наша кухня, кафе при студии, ресторан при Доме актера, отделанный под жилье чердак избы, где поселился, уйдя «в пустыню», Метельников.

Я навестил его примерно через месяц после начала этого «затворничества». Возвращался на «гидраче» с лесного пожара – сушь стояла в то лето страшная, и затлеть могло от солнечного луча, попавшего в бутылочный осколок или каплю росы, зависшую в ажурной паутине, – увидел сверху знакомое озеро, по моей просьбе пилот сел на воду, подрулил к выдающемуся в озеро деревянному молу, я спрыгнул на доски и, сказав, что доберусь до облцентра сам, потопал к разбросанным вдоль береговой линии бревенчатым избам. Меня беспокоило молчание Метельникова; последнее, четвертое по счету, письмо я получил недели две назад, до этого интервал между посланиями не превышал трех дней, так что мои опасения были вполне обоснованы. На подходе к крайней избе, где я месяц назад оставил своего друга, я даже спросил у небритого нахмуренного мужика, одетого в драный, словно снятый с собачьего «дразнилы», ватник, не случилось ли чего с катером, не было ли сильных ветров? Мужик посмотрел на меня как на небесного посланца; площадь пожарища мы определяли с самолета, и потому на мне был кремовый костюм в вишневую полоску, зеленая рубашка, желтый галстук с темным граненым камушком в треугольном узле, плосконосые «корочки» на кожаной подошве, в руке я нес дюралевый ребристый кейс с цифровыми замками. До мужика вопрос мой дошел только со второго раза, и он только молча крутнул из стороны в сторону колючим от щетины подбородком: нет, не было.

Предчувствия мои подтвердились как только я вошел в избу – избы в поселке не запирались, все были свои, чужой с материка мог добраться только катером, – и из темных сеней по шаткой, приставленной к бревенчатой стене, лестнице, поднялся на чердак, обжитый «постояльцем»: так Метельников стал называть себя в письмах на четвертый день пребывания. Вид у помещения был вполне жилой: широкий, сколоченный из досок, топчан был аккуратно застелен сизым байковым одеялом, к поточенной древоточцем стропилине над изголовьем был прикручен эбонитовый патрон с забранной веревочным абажуром лампочкой, в таком же стиле – вспомнил: макраме, – но уже не из веревок, а из сизаля были исполнены две циновки по обеим сторонам полукруглого окошка; само окошко было занавешено чем-то вроде рыбацкой сети, сплетененной из волокнистого льняного шнура так, что падающая от нее тень преобразовывала стоящий перед окном письменный стол в подобие географической карты с параллелями и меридианами. Старая пишущая машинка «Олимпия» возвышалась над ней как потухший вулкан Килиманджаро над африканской саванной. Это было явно не метельниковское творчество, точнее, «ману-фактура» – про такую свою «метаморфозу» он бы непременно написал, – отсюда напрашивался вывод, точнее, вопрос, который уже заключал в себе конкретный ответ: шер ше ля фам. Но откуда она могла взяться, эта «ля фам?» «Она могла приехать навестить бабушку», тупо, как дятел, простучало под крышкой моего черепа. Красная Шапочка. Машенька и Медведь. Пирожки в берестяном коробе. В этом абажуре, этих циновках тоже было что-то от «народных промыслов»; сеть на окне напоминала ту, которой ловили Человека-амфибию в фильме по одноименному роману. От квадратного люка, из которого я вылез, до самого стола постелен был полосатый половик, сотканный из старых, порванных на ленты, тряпок и сношенных чулок.

Я осторожно снял ботинки, тихо, словно боясь кого-то разбудить, двинулся к письменному столу и остановился шагах в двух от него, словно желая отыскать глазами еще какие-то признаки существования Метельникова, но в то же время не оставить следов своего присутствия. Так оперативники проводят обыски без санкции прокурора; после их посещения в квартире подозреваемого не остается никаких видимых следов. За столом по всей видимости работали; по сторонам от тяжелой чугунной станины лежали стопки бумаги, левая стопка была чистая; верхний лист правой был покрыт густой машинописью; текст был отпечатан через один интервал и без абзацев. Так Метельников печатал в трех случаях: это могло быть либо письмо, либо что-то вроде «дневника», либо просто «текст», своего рода «стилистическое упражнение» для разминки руки и ума – то же, что гаммы для музыканта. Впрочем, Метельников еще называл эти «экзерсисы» «формой медитации»; установил для себя даже что-то вроде «нормы»: страница или две с половиной тысячи типографских знаков в день, разумеется, если этот день был свободен. На столе вокруг машинки был как всегда порядок, только в стакане, поставленном в мельхиоровый, с темными разводами окислов, подстаканник, мутнел недопитый чай. Чай Метельников пил крепкий, и оттого после отстоя тот приобретал цвет скверного кофе, разбавленного большим количеством молока. Порядок на столе держал по примеру Александра Блока, и даже цитировал его же объяснение этого пристрастия: «самозащита от хаоса». Глядя на мутный чай, я вдруг почувствовал страшную жажду; на фанерной, выкрашенной белилами, тумбе, стоявшей в ногах топчана, я увидел стеклянную банку с водой и торчащим из нее кипятильником. Воткнул вилку; вода вокруг спирали пошла прозрачными змейками, а я так же, тихо ступая по лоскутному половику, вернулся к столу и склонился к отпечатанной странице, в правом верхнем углу которой стояла цифра «27»: это мог быть как «экзерсис», так и «дневник» – сам автор не всегда мог провести между ними четкую границу – нумерация тоже входила в систему «самозащиты».

В самом же тексте, по мнению Метельникова, присутствие «автора» должно быть минимальным; «автор» должен быть чем-то или кем-то вроде «медиума», и не «описывать явление» единым, выработанным долгими упражнениями, стилем, а «слушать фактуру» и на бумаге передавать ее «максимально адекватно ей самой». «Голоса травы» как у Уитмена. Впрочем, «травой», «камнями», «водами» и прочей «натурой» Метельников не интересовался; авторов, ведущих повествования от имени «деревьев» или «насекомых» считал шарлатанами; под это определение попадали и творцы «исторических романов». Концепция эта выработалась у него почти самостоятельно; в кино он придерживался направления братьев Люмьер и Эйзенштейна, стремившихся так запечатлеть на пленке реальность, чтобы зритель мог постичь ее сокровенную суть; на литературу, конкретнее: прозу – этот эстетический принцип перешел как бы «по смежности». Так шаман обкалывает иглами деревянную или восковую фигурку в расчете, что реальный прототип объекта его воздействия так же зачахнет и умрет. В студийном кафе Метельников «проговаривал» свои неснятые картины; здесь же, как я понял, он стал их «описывать». К тому времени когда в банке на тумбе забулькала вода, я успел выхватить глазами несколько строк с верха страницы и понять, что «текст» написан от лица женщины.

«…дел на краю табуретки, раскачиваясь взад-вперед, потом резко наклонился, встал, пошел на меня, но вдруг остановился шагах в двух от дивана и повернул в сторону окна. Окно было распахнуто, внизу тарахтел на холостых оборотах чей-то двигатель, из окна напротив был выставлен динамик и гремел какой-то самоварный оркестр. Он закрыл окно, приглушив звуки как клетку с орущим попугаем, и задернул шторы, вероятно, для пущего сходства комнаты с этой воображаемой клеткой. Все это он проделал молча, как бы заранее предполагая во мне если не добровольную соучастницу будущего акта, то покорный объект его сексуальных домогательств. Я поняла, что выхода у меня нет, к тому же он был мне вовсе не противен, и стала так же молча выдавливать из петелек блузки круглые, обтянутые шершавым шелком, пуговки…» Я понял, что речь идет о вполне реальных событиях и переживаниях – запись вос-

принималась как стилизованный рассказ, точнее, «исповедь грешницы», женщины, которая отдавалась мужчинам потому, что никак не могла утолить свой сексуальный голод. Я сходил за банкой с кипятком, долил его в недопитый Метельниковым чай, и когда напиток в стакане сделался из мутно-бурого янтарным, сел на край стула и стал снимать с отпечатанной стопки лист за листом., проникая таким образом в рукопись «по восходящей». «…сняла мокрые трусики, лифчик, а когда стала натягивать на голое тело сарафан, посмотрела вниз и увидела под бортом кабинки ноги, облепленные песком. Вадик отдыхал здесь с отцом и матерью; он был еще совсем мальчик, но папаша был умница и считал, что пусть лучше он начнет со меня; он сразу понял, что замуж я не хочу, я и Вадику так сказала: не представляю, как это можно всю жизнь прожить с одним мужчиной…» Были в «исповеди» и откровенные описания совершенно диких сексуальных оргий: «… в комнате было почти темно, за бордовыми гардинами тлел уличный фонарь, голые тела шевелились на полу, на диване, на тахте у стены, кто-то стонал, кто-то хрипел, и я улетала…»

После таких «всплесков» я сглатывал подкатывающий к горлу комок, делал глоток теплого кисловатого чая и сразу, не читая, перекладывал на прочитанную стопку несколько страниц, стараясь не сбить нумерацию. Так я дошел до начала: рассказчица, тогда еще выпускница десятого класса, будущая абитуриентка, описывала свой приезд в большой город. «…назвала адрес тети Тамары. Шофер сперва долго колесил по улицам, то шумным, то тихим, потом мы заехали в какой-то парк, вокруг сделалось глухо, безлюдно, таксист сказал, что это объезд, мне стало не то, чтобы страшно, но как-то беспокойно, внутри все натянулось, затрепетало, и вдруг он остановил машину, вышел, открыл мою дверцу, приказал: выходи! – я прошептала: не надо, я еще девочка! – а он сказал: надо же когда-то начинать и наставил на мои глаза раскрытые ножницы. Что я могла против него? Я только подумала: дыркой больше, дыркой меньше – какая разница, – а потом вышла из машины и уже делала все, что он говорил. Хорошо хоть не бросил, подвез к тетиному дому, я была как деревянная, тетя Тамара спросила, хорошо ли я доехала, и почему так поздно, и я сказала, что хорошо, но я очень устала…»

Это было похоже на тот наш совместный литературный опыт восьмилетней давности, когда я наговорил на магнитофон нашу с Настей поездку на вырубку, а Метельников потом сел за машинку и сделал из этого монолога рассказ, тот самый, который ему предлагали потом переделать в сценарий. Кроме того, у меня возникло ощущение, что Метельников хочет как бы вернуть себя в некую точку в прошлом, развилку, камень с надписью: «Налево пойдешь – голову свернешь», «Прямо пойдешь – счастье найдешь», «Направо пойдешь…» Он пошел прямо, но счастье оказалось обманчиво, и теперь он блуждал как путник, заплутавший в лесных дебрях и старающийся выйти на знакомую полянку, чтобы взять азимут. Но обстановка, точнее, интерьер его чердака при этом был чем-то похож на внутренность рыбачьей верши, сплетенной из ивовых прутьев: коврики и циновки из льняного шпагата и сизаля висели не только по обеим сторонам от окна, но и занимали промежутки между стропилами, создавая какой-то странный стиль, убаюкивающий, расслабляющий: хотелось говорить тихо, двигаться бесшумно, а если курить, то исключительно кальян, лежа на топчане, запахнувшись в шелковый халат, глядя на танцующих гурий из-под полуприкрытых век. Чердак ассоциировался с «Турецким кабинетом» в Эрмитаже. И я невольно подпал под власть его расслабляющего обаяния: снял и повесил на гвоздь пиджак, распустил узел галстука, ослабил брючный ремень, лег на сизое одеяло, покрывающее жесткий топчан, раскинул ноги, руки, уперся затылком в плоский волосяной валик, заменявший Метельникову подушку, прикрыл веки и постепенно, как набухшая водой картонка, стал погружаться в теплые воображаемые сумерки собственного сознания. «Почему я здесь, думал я, среди этих сплетений? Все сплетается, все переплетается в нашей жизни, она тот же ковер… ковер… по ковру… пока врешь… кто врет кто не врет все так или иначе обманывают себя красуются перед собой хотя продать себя дороже чем они стоят на самом деле при том что каждый знает себе цену деньги в этом смысле универсальный

критерий ты стоишь ровно столько сколько тебе платят по месту твоей основной работы и если ты не сумел себя продать значит ты не товар ты никто и будешь все отрицать разрушать словом или делом чаще словом потому что делать такие ничего не умеют только болтают чтобы замаскировать собственное ничтожество и только это удерживает тебя от самоуничтожения.»

Это было уже обращение к самому себе: я летал над горящими торфяниками; огня не было видно, под самолетом стлался по ветру дым, и над над ним кое-где торчали верхушки елей. Я знал, что если огонь выбьется из-под слоя мха и зацепит нижние ветви, смолистый лес вспыхнет как промасленная ветошь; знал, и ничего не мог сделать: у меня не было ни людей, ни техники, ни дорог, по которым можно было бы перебросить в район пожара людей и технику, если бы они у меня были. В такие места обычно посылают стройбат, но два года назад в горящий торф провалился БТР, восемь мальчишек сгорели заживо, так что если бы у меня и был стройбат, и огонь уже мелькал в дымовых прорехах на подходе к лесу, я бы сказал себе: пусть, значит природе так надо. А перед министерством отчитался бы как Пушкин перед Воронцовым за набег саранчи: что есть саранча? Бич божий. А можно ли бороться с божьим бичом? Никак нет. Я думал про все это, лежа на жестком топчане, глядя на сотканную из льняного шнура циновку, повешенную между стропилами. Ячеи ее были крупные, такие, что в них могло бы пролезть куриное яйцо; это была не циновка, это была сеть, я опять был в сети, в чужой сети, где любое неловкое движение могло обернуться пленением; нет, это не я, это Метельников попал в эту сеть; он уехал, он придумал себе это отшельничество от страха; это было бегство от жизни, обязывающей человека к каким-то поступкам, к выбору между добром и злом, а он уже не чувствовал в себе сил ни на то, ни на другое, и потому, боясь изойти на колебания и разговоры, предпочел с виду сильный, эффектный, но мнимый «уход». Мне тоже иногда очень хотелось вот так уйти; я был гораздо более Метельникова приспособлен к такой жизни; я мог сделаться охотником-промысловиком, егерем, а он и здесь остался тем, кем был в городе: так же часов по пять-шесть в день «медитировал» за машинкой, выколачивая из себя полторы-две страницы текста, между «подходами», вероятно, бродил по берегу озера, созерцая воду, чаек, синюю полоску леса на том берегу, стараясь уловить тонкий визг катерка и каждый раз при его приближении удерживаясь от того, чтобы не кинуться в дом и не начать поспешно бросать в рюкзак вещи.

По-видимому, я задремал; это было как плавное соскальзывание в бездну; я двигался галсами как сорвавшийся с ветки лист, точнее, как глаз, принявший форму листа и фрагментами ловящий на сетчатку окружающую круговерть. Но я падал в себя самого, во все, что накопилось во мне за прожитую жизнь; теперь она представлялась мне чем-то вроде шахты лифта, выстланной изнутри «живыми картинами», похожими на движущиеся изразцы, которые сходились и расходились подобно цветным осколкам, образующим мозаичные витражи в круглом донце калейдоскопа. Жизнь в сущности такой же беспорядочный поток живописного мусора: красок, звуков, лиц, разговоров, пейзажей – и только усилия нашей воли придают этому хаосу какое-то подобие стройности, системы; воля действует, как зеркальная призма, многократно преломляющая случайно сложившийся на дне картонной трубки фрагмент и создающая из него радиально-симметричный витраж.

Во всем этом было ощущение мнимости; мое сознание порхало как та бабочка из буддийской притчи, которой снилось, что она – человек; человек же, пробудившись, не верил в собственную реальность, полагая, что он бабочка, впавшая в зимнее оцепенение между оконными рамами. Мнимость и бессилие; мне казалось, что я – попавшее в сеть насекомое или рыба, которой снится, что она главный инженер. Природа жила своей независимой жизнью; я был знаком с трудами специалистов, которые прогнозировали вид нашей планеты после какой-нибудь глобальной катастрофы вроде термоядерного взрыва или стычки с блуждающим космическим телом. Многие сходились в том, что если Земля не соскочит со своей орбиты и температурный режим на ней останется примерно в тех же границах, биосфера, обладающая колоссальным

запасом прочности, восстановится лет через сто-сто пятьдесят, а в отдельных климатических зонах, тех же субтропиках, и раньше. Что здесь могло зависеть от меня? От закорючек, что я ставлю в нижнем правом углу бумажных листов с гербовыми печатями? Торф все равно будет гореть, леса будут вырубать, сплавлять, гноить на дне рек и озер, а в министерстве для оправдания этого безобразия будут сочинять новые оценочные критерии и составлять по ним «таблицы лесных категорий». Я говорил об этом в микрофон «Филипса», запершись на кухне; Метельников хотел снять по этому монологу фильм, но что-то там не заладилось, и теперь я, кажется, понял, что именно: на экране у этой истории должен был быть какой-то конец, в то время как в жизни никакого конца не было; «поток жизни» надо было или рубить или присобачивать на финал какую-нибудь разлюли-малину. И вот он уехал и, судя по обстановке на чердаке, влип. Я вдруг вспомнил, что у Метельникова никогда не было «романа»; в этом отношении он тоже был как бы «антиподом» Корзуна; он не был монахом или извращенцем; иногда он появлялся у нас с какой-нибудь дамой, но Насте довольно было побыть с ними несколько минут, чтобы точно определить, есть между ними «что-то» или нет.

Так вот ничего «такого», как она утверждала, у Метельникова с его «дамами» не было никогда. Настя усматривала в этом биографическом, именно: «биографическом», а не «физиологическом» факте, – некий особый душевный такт, деликатность; я даже подозревал, что она поверяет Метельникову порой нечто такое, чего не может рассказать даже мне; основания были: когда я сказал ему, что Настя беременна, Метельников задумчиво покивал головой и рассеянно пробормотал: да-да, замечательно, я знаю. Брутального Корзуна эта «бесполость» ставила в тупик, натурально: как это так – без бабы? – расссуждал он, сидя против меня на табуретке и разглядывая на просвет граненую стопку с коньяком, – он что, онанист? Педик? Гоголь? Чайковский? Я возражал; говорил, что если адреналин у человека не прет из ушей и ноздрей, это вовсе не значит, что он какой-то ненормальный, просто он понимает связь с женщиной лишь в виде брака, но пока он сам не определился в жизни, он не хочет брать на себя ответственность за судьбу другого человека. Корзун махал руками, опрокидывал в усы коньячную стопку, перебивал, не дослушав: честолюбие из него прет, из каждой поры, мнит о себе черт знает что, вместо того, чтобы брать сценарий и вкалывать, дубляжиком перебивается, прячется за чужие спины, а то вдруг сам начнет снимать и выйдет лажа – что от маэстро тогда останется? Пшик. Кому он пыль в глаза будет пускать, когда его любой сможет ткнуть в его же дерьмо? Некоторые весьма обычные по интеллекту люди порой умнеют от прилива злости: Корзун, по-видимому, относился к их числу. Я понимал, что в чем-то он прав; метельниковский скепсис порой раздражал и меня: от него могло быть совсем недалеко и до высокомерной спеси. Но здесь, в глуши, так расслабиться, потерять бдительность, дать себя опутать; так, говорят, железных, дрейфующих вокруг полюса полярников валит с ног насморк, занесенный с Большой Земли командированным для репортажа доходягой-корреспондентом. Не зря сказано: одиночество, затворничество – самые труднопереносимые вещи, и не всякому это дано.

Пока я лежал, дневное солнце нагрело крышу чердака, и я задремал, забылся в чем-то ватном, душном. Сквозь дрему услышал сперва тихие шаги, потом разговор. Звучали два голоса: один был Метельникова, другой незнакомый, женский. Речь шла о какой-то работе, трудной, физической, о том, что сейчас так надо. Я вслушался и понял, что они пришли из ольшаника, где драли кору с молодых стволов, алюминиевой проволокой связывали ее в пачки и таскали под навес на пристани, где она должна была сохнуть в ожидании катера. Я знал этот промысел; кора нужна была в кожевенном деле, и ее принимали по сорок копеек за килограмм. Но если местные занимались этим делом из соображений чисто экономических, то Метельников и его подруга относились к этому как к монастырскому послушанию, обету, добровольно возложенному ими на самих себя во искупление каких-то земных грехов. О грехах метельниковской подруги достаточно красноречиво свидетельствовали прочтенные мной страницы – в том, что это были именно ее откровения, я не сомневался, – но Метельников? Он-то за что грыз

себя поедом? Впрочем, я вспомнил, что как-то в городе, сидя за столиком студийного кафе, он пустился в рассуждения о том, что есть грехи свершенные, явные, и есть воображаемые, тайные, и вот эти-то тайные более всего и достают. Как в притче о двух буддийских монахах, старом и молодом, и девушке, которую старый монах перенес через ручей. Учитель, сказал молодой через какое-то время, но ведь Просветленный запретил нам прикасаться к женщине? Я уже оставил ее, сказал старый монах, а ты еще несешь. В согласии с этой притчей, Метельников должен был спать с этой девицей, но по голосам, по разговору выходило, что и здесь они наложили на себя эпитимью.

Я лежал с закрытыми глазами, отвернувшись к скату крыши, и слышал, как они разделись и тихо, сосредоточенно, как обезьяны, стали искать друг на друге энцефалитных клещей. Я лежал, стараясь не дышать; мне было так неловко, словно меня на ночь поместили в одной комнате с молодоженами. Но похоже, ничего такого за моей спиной не происходило; был все же у Метельникова в этом вопросе какой-то «пунктик»: то ли нечто очень возвышенное, то ли, напротив, низменно-извращенное. Я бы, наверное, даже не удивился, если бы вдруг выяснилось, что в свои тридцать три года он еще девственник. Тем временем поиски клещей завершились. Притворяться спящим далее было и бессмысленно и неловко. Я подождал, пока Метельников и его подруга оденутся, и зашевелился.

Метельников, казалось, совершенно не удивился моему появлению. За время, пока мы не виделись, он сильно переменился: отпустил редкую, вьющуюся во все стороны, бороду, развалил на прямой пробор свисающие на уши волосы, лицо потемнело от загара, от уголков глаз к вискам разбежались светлые лучики морщинок, а сами глаза словно тоже выцвели на солнце и сделались какого-то неопределенного, чайно-бутылочного, цвета. Но главное было не в их цвете, а в их выражении; они, казалось, совершенно перестали моргать, и смотрели на меня так, как смотрят нарисованные на саркофагах глаза египетских фараонов. Говорил он теперь медленно, и так, словно перед тем как сказать фразу, какое-то время прислушивался к невидимому суфлеру, сидящему где-то внутри него. При том, что фразы были самые что ни на есть простые, типа: так ты, значит, с гидросамолета: ботинки чистые, костюм. Это Рая. Чай будешь? Буду, сказал я. Чай оказался зеленый; Рая заварила его не в чайнике, а в керамическом кувшине с узким горлом; разливала через ситечко, серебряной ложечкой вынимая с его дырчатого дна размокшие лохмотья и стряхивая их в круглую берестяную корзину рядом с письменным столом. За чаем выяснилось, что она попала сюда после института, по распределению, как массовик-затейник, что главным местом ее работы был клуб в большом поселке на другом берегу озера; там она вела хореографическую студию и кружок макраме; метельниковский чердак был украшен как ее работами, так и произведениями кружковцев. Метельников по большей части молчал, склоняясь над чашкой и занавешивая лицо пепельными, начинающими седеть, крыльями волос. Друг к другу они почти не обращались, но я чувствовал, что между ними есть какая-то очень крепкая ниточка, и по ней пробегают невидимые постороннему глазу токи.

Я и Рая решили обвенчаться, сказал вдруг Метельников, так что ты возник очень кстати, как чувствовал. Ничего я не чувствовал, сказал я, просто пролетал, вспомнил, что ты давно не писал, сказал, чтобы сели, вот и все. Все! воскликнул Метельников, обернувшись к Рае, нет, ты глянь на него: пролетал, сказал, сели – запросто, как в такси! Работа у меня такая, сказал я, глядя на Раю, главный инженер лесоуправления. Хозяин тайги, пояснил Метельников, и не только тайги, но и всех окрестностей: населенных пунктов, лесопилок, метео и железнодорожных станций – Барин. Тогда я первый раз услышал это слово «Барин». Услышал и забыл, точнее, почти забыл. При том, что в моей должности, в положении, которое я занимал по отношению к местным учреждениям, мелким начальникам: лесничим, егерям – действительно было что-то помещичье.

Я был Власть. Со мной можно было вести себя запросто: стоять в облаве, гонять рыбных браконьеров – занятие это чем-то сродни охоте, – пить водку, но при этом знать свое место,

точнее, не место, а ту грань между дозволенным и недозволенным, которая не очень твердо прописана в законе, но очень точно определяется мной, Анатолием Петровичем Осокиным. Т. о. я представлял в этих диких краях не только Власть, но и Закон, точнее, Закон, облеченный Властью. Да, я тоже был зависим, подчинен, я брал взятки, но при этом всегда соблюдал некую условную «меру», физически, почти интуитивно, чувствовал тот «предел» эксплуатации нашего лесного и озерного края, выход за который грозит необратимыми последствиями. Я бывал на министерских совещаниях в Москве и из кулуарных разговоров немного представлял себе, что происходит с Аралом. И потому ни на одной экспертизе, проведенной в рамках подготовки проекта переброски северных рек, не было моей подписи. Но здесь, на метельниковском чердаке, от меня потребовалось совсем другое: священник местного прихода отказывался венчать без брачного штампа в паспорте, и Метельников хотел, чтобы я связался с первым секретарем райкома и уговорил его дать опасливому попику персональное, в порядке исключения, разрешение на свершение этого небесного таинства.

Во всем этом, я имею в виду как просьбу, так и саму ситуацию, было какое-то дикое, невероятное «смешение понятий». «Брачный штамп» в головах Метельникова и его подруги символизировал некий апокалиптический «Знак зверя»; разрешение же от него должно было исходить от вполне «светской власти», стоявшей почему-то над вполне земным служителем «небесного культа». Но мономанам, людям, поглощенным какой-то своей идеей, обычно бывает плевать на такого рода «неувязочки»: есть только он и «высшая сила» – Бог, Абсолют, Единая Субстанция, – и для установления, точнее, регистрации контакта с этим «газообразным позвоночным» (определение то ли Вольтера, то ли Декарта), всякие бюрократические мелочи следует свести с минимуму.

Я, разумеется, был знаком с «Первым»: встречались на охоте, на рыбалке – номенклатурный круг довольно узок, все так или иначе знают друг друга, – это был молодой, примерно моих лет, парень, красавец смешанного, восточно-славянского типа, бывший кандидат в мастера по самбо, тайно комплексовавший на том, что он «вечно второй»: серебряный призер, не «мастер», а только «кандидат», назначенный «первым» лишь в это захолустье. К должности своей он, впрочем, относился серьезно, без всякой самоиронии, в чем я усматривал некоторую умственную ограниченность, которой в той или иной степени отмечено большинство руководителей так называемого «среднего звена». Несколько наших встреч были случайны, обратиться к нему «по дружбе» я не мог, но отказывать Метельникову, в глазах которого тлел огонек тихого фанатизма, было не то, чтобы опасно, но, ввиду нашей старой дружбы, не вполне корректно. По его понятиям, я был «свой», а, значит, должен был ставить свои должностные возможности на службу интересам членов нашего «караса».

Мне не впервой было сталкиваться с такого рода «инфантилизмом»; на нашей кухне порой возникали «посланцы из прошлого»: спившиеся актеры, наркоманы, личности порой совершенно опустившиеся, но все еще жившие воспоминаниями о «высших мгновениях» своей жизни, верившие в то, что еще не все кончено, и потому требовавшие к себе не только снисхождения, но и некоторого повышенного внимания. Впрочем, формы этого «внимания» были как правило весьма заурядны: измученный, забитый жизнью, людьми, заевший себя собственными комплексами, человек прежде всего хотел выпить, потом поесть, а когда эти нехитрые желания удовлетворялись, пускался в воспоминания и рассуждения, суть которых так или иначе сводилась к одному: «все они козлы, и только мы здесь, я, ты, Настя, понимаем, какие они козлы!..» И я поддакивал, делано улыбался, наполнял рюмки, чокался и никак не решался сказать: да взгляни ты на себя, на меня, мы разные люди, и то, что когда-то мы вместе баловались «травкой», ни к чему меня не обязывает. Хотел сказать, и не мог: удерживала жалость к «падшему», Настя, говорившая: кто знает, что еще будет с нами самими? К тому же в каждом из таких «визитеров» было что-то от Метельникова, а, значит, отчасти личное, наше: ходячее зеркало, камертон, звучащий в унисон с какой-то дальней, ослабленной стрункой души.

Случилось, что один такой «визитер» – Корзун называл их «хронофагами», – попал как раз на него. Попал, но не узнал: Корзун в это время примерял на себя роль царя Федора Иоанновича, после ковбоев и прочих брутальных типов это было не просто, и потому он воплощался в новый для себя «образ» по полной программе: отпустил редкую, как на портрете у молодого Соловьева, бородку; стал соблюдать Великий Пост, и даже, как мне казалось, навесил на свои плечи плоские кожаные мешочки с охотничьей дробью – вериги, скрытые под холщовой, расшитой на «русский манер», рубахой с планкой и высоким глухим воротом. Вживаясь, тем не менее трактовал образ царя-юродивого «под себя» – иначе он не был бы Корзун, – и суть трактовки вкратце сводилась к тому, что «яблочко от яблони недалеко падает». Блаженный-то он блаженный, но в чем-то все же «Грозный». В неистовости нрава и – почти тавтология, – истовости своего «служения». Федор знает, что выше него только Бог, говорил Корзун, но, в отличие от отца, понимает свою власть как служение во искупление отцовых грехов. И не только он, все должны покаяться, и если холопы не согласятся по доброй воле, он их заставит, и если личного примера окажется мало, он из «блаженного» сделается «грозным». Я хочу играть Федора так, говорил Корзун, чтобы за ним все время маячил призрак отца, страшный призрак.

Это было что-то новое, мало того, личное – его отец был большой фигурой в театральном мире; слухи о нем ходили разные, чаще сомнительные, – и Корзун через «Федора» как бы «отживал», изгонял из себя, негативную наследственно-семейную «карму». В усах, бороде, в покрытом тенью абажура, углу, он был почти неузнаваем; наш старый, потертый жизнью, приятель едва кивнул ему с порога, а после двухсот граммов водки, разошелся и начал так крыть всяких «козлов», что Настя просто вышла из кухни, а я снял тапок, под столом поставил ступню на ногу Корзуна, и стал прижимать ее как педаль автомобильного тормоза на крутом спуске. Гость тем временем приложился еще, и из него, что называется, «поперло». Я держал ногу Корзуна и старался не смотреть на его лицо; я и так представлял, как на его скулах проступают жесткие желваки, как щеки и лоб бледнеют и покрываются матовыми пятнами, и как над переносицей, где сходятся брови, набухает бурая рогатка вены – физиологический признак-«символ» внутренней борьбы. Вроде той, что по трактовке Корзуна, и должна была происходить в душе блаженного царя Федора.

И ведь самое удивительное было то, что он сдержался, «пожалел идиота», по его же выражению, «сам таким был лет десять-двенадцать назад, но я-то вроде как поумнел, может и у этого еще не все потеряно». Для Корзуна такую реакцию можно было считать большим прогрессом. Не то, что в морду не засветил – за ним это обычно не залеживалось, – стал увещевать, рассуждать в том смысле, что «козлы-то они может быть и козлы, но что-то такое они все же делают, ну, ошибаются, ну, с юмором иногда бывают проблемы, ну так это в любом деле так, хотя и в ваших выпадах, уважаемый… Р., тоже есть свой резон: сытые они, благополучные, а искусство это прежде всего живые нервы, и когда их начинают изображать, когда жизнь духа имитируют люди, чьи чувства давно притупились, истрепались от их противоестественной, комедиантской жизни, то не ощущают этого лишь такие же «козлы» как они сами, обыватели, которых в нашем окружении подавляющее большинство, они и есть тот самый «народ», которому, как известно, принадлежит искусство. И это правильно, потому что искусство в нашей стране живет на те налоги, которые собирают с этого самого народа».

В общем, съехали на нормальный обывательский компромисс: все действительное разумно, все разумное действительно. Я никогда не соглашался со второй половиной этого убойного тезиса; я представлял, даже по своей работе, множество разумных вещей, которые могли существовать только в моем воображении. Но я промолчал; мне было просто лень влезать в их разговор с каким-то своим мнением. Мне вообще временами начинало казаться, что все вокруг как бы не вполне реально, что я окружен не людьми и предметами, а чьими-то ловкими подделками, имитациями, миражами, муляжами; я слышал слова, звуки музыки, видел лесные пейзажи из иллюминатора гидросамолета, но все это существовало как бы помимо

меня, где-то за внешней гранью моего существа, и тоже, как шмель об стекло, билось в его твердую пустую оболочку. Иногда я просыпался с ощущением, будто все мое тело это одна отсиженная нога; порой это бывало связано с похмельем, но не всегда; бывала и усталость.

А тогда на чердаке я подумал, что за Метельникова и его подругу я замолвлю словечко. Решился, правда, не сразу. Сперва вышли с ним прогуляться по берегу озера, стали говорить; он сказал, что решил порвать с кино, и не только с кино, но «и вообще со всей той жизнью». Я ожидал чего-то в этом роде, и тоже не стал спорить, разубеждать; я сам, попадая в лес, на озера, порой ловил себя на мысли, что жизнь на природе гораздо более естественна для человека, чем жизнь в каменных трущобах; и это тоже было то «разумное», что никак не могло стать «действительным»; пару раз я пробовал завести с Настей разговор о «перемене участи»: «бросим все это к такой-то матери, возьму я себе хорошее лесничество, построим дом, заведем свое хозяйство: корову, кур, кроликов…» – кончались такие беседы истериками и слезами: «действительное» торжествовало над «разумным». Впрочем, я сам не верил в воплощение этой идеи; разговор был, скорее, поводом, провокацией для обострения каких-то назревающих, но еще не вполне ясных, проблем: начиналось с темы «леса», точнее, «ухода», а завершалось тем, что менять надо «все».

И все же я не мог поставить себя в положение Метельникова, сочинившего в своей голове что-то вроде «первобытного рая», и теперь усиленно воплощавшего в жизнь эту архаическую иллюзию. Но разрушать ее я не хотел, впрочем, если бы и захотел, ничего бы из этого не вышло; на почве бытовой, житейской, друг мой был уступчив как мокрая глина, но в сфере идеалистической, умственной, та же глина обращалась в подобие почвенной «подушки», на которую в наших краях неизбежно натыкаются копатели колодцев на глубине от одного до полутора метров: после податливого песка лопата вдруг утыкается в нечто вроде толстой резины; на ней можно прыгать: она охает, пружинит, пищит, но не поддается никакой механической трансформации. Единственное, о чем я спросил Метельникова, прежде чем дать свое согласие на разговор с «первым»: а ты уверен в том, что это то, что тебе нужно? Спросил и тут же пожалел: Метельников замкнулся, свел брови над переносицей в две тугие складки и сквозь зубы процедил что-то в том смысле: что, мол, ему не семнадцать лет, и что если я не считаю его человеком вменяемым, то какие-либо отношения между нами становятся «невозможны в принципе». Итак, «лопата» уперлась в «подушку»; за словом «принцип» мог последовать если не полный разрыв, то значительное и прогрессирующее отчуждение, а этого мне вовсе не хотелось; мне ведь на протяжении этих полутора месяцев в какой-то степени согревала душу мысль о том, что где-то там, в этих диких краях, я могу встретить душевно близкого мне человека. Хорошо, сказал я, я поговорю.

После этого мы вернулись на его чердак, где Рая напоила нас зеленым чаем; держалась мило, непосредственно, но, на мой взгляд, слишком живо и даже чуть-чуть кокетливо по отношению ко мне. В разговоре выяснилось, что завтра после полудня ожидается катер, на котором они с Метельниковым хотят отправить свою кору в заготовительный пункт. Кто-то из них должен был отправиться с этой корой, как-то устраиваться с ночлегом в незнакомом месте, ждать обратной оказии; в общем, все это было весьма хлопотно, и потому когда я предложил в качестве «экспедитора» себя с тем, чтобы переслать полученные за кору деньги переводом, они оба приняли эту идею с какой-то наивной, детской радостью. И сквозь эту радость я вдруг увидел двух уставших, измотанных жизнью, людей, узревших нечто судьбоносное в своей странной встрече, и потому суеверно опасающихся даже кратких разлук. Так бывает в снах о любимом человеке; вы вместе, вы счастливы как никогда не были счастливы в реальной жизни, но грядущее пробуждение разлучает вас навсегда, как смерть.

Поздним вечером, в свете алого, заполонившего полгоризонта, заката, мы катались по озеру на гребной деревянной лодке, потом проводили Раю в избу к ее тетке, а сами вернулись к Метельникову, тихо поднялись на чердак, рухнули на топчан и уснули как два брата из какой-

нибудь фольклорной былины о лесных странствиях. Разбудил нас гудок катера, плоский, скрипучий, похожий на кряк утиного манка. Мы быстро вскочили, оделись и побежали на пристань, где уже суетились местные бабки с корзинами и мешками, сидели на кнехтах два сонных морщинистых мужика со свисающими с небритых губ сигаретами «Прима», и неспеша, вразвалку, прогуливался молодой, крепкий, но слегка располневший от малоподвижной жизни парень в тельнике и фуражке с золотой кокардой и лакированным, надломленным посередине козырьком. Это был капитан, сын егеря, бывший морпех, кроме вождения катера, подрабатывавший в этих краях ловлей браконьеров. Он следил, как бабы таскают по шаткому трапу свои пожитки, а когда эта погрузка кончилась, подогнал катер кормой к причалу и помог нам с Метельниковым перетаскать на борт увязанные проволокой тючки.

Я был в лакированных «корочках» чешской марки «Цебо» на кожаной подошве; снял лишь пиджак, галстук, закатал рукава рубахи; мой «кейс» с документами и деньгами лежал в капитанской рубке; я брал из-под покрытого пепельно-сизой дранкой навеса тючок, бросал его на ближний конец причала Метельникову, и тот перебрасывал его на корму катера капитану. Появилась Рая; она по натуре была «сова», гудка не слыхала, от этого почему-то чувствовала себя страшно виноватой, и все спрашивала у меня, не может ли она чем-нибудь помочь. Я сперва не знал, что для нее придумать, но потом попросил принести чаю в термосе (только не зеленого) и бутерброды, и она убежала, всплескивая руками и слегка отбрасывая в стороны миниатюрные крепкие икры. К тому времени, когда она вернулась, вся кора уже перекочевала на корму, а мы с Метельниковым сидели под навесом и курили. Все уже было оговорено, и нам оставалось лишь молча посидеть на дорожку. Чаю попить мы уже не успели; небо на западе наливалось чернотой, ветер отрывал от массива дымные клочья, захлестывавшие солнце, и капитан сквозь стекло рубки знаками давал мне понять, что «надо валить, пока не началось». Я-то как раз полагал, что лучше переждать – шквалы в это время налетали быстрые, сильные, но недолгие, – но командовал здесь капитан, и я, по въевшейся служебной привычке, не стал ему прекословить.

И как выяснилось, зря; едва мы отошли от причала, и деревня скрылась за далеко выступающим, поросшим ельником, мысом, как ветер подул сильными беспорядочными рывками, последний просвет над нами затянуло, небо сделалось цвета воды в стиральной лохани, а верхушки волн запенились и стали перескакивать через низкий облупленный фальшборт. Тут же хлынул ливень; волны прибило, но водяной занавес вокруг катера сделался настолько густ, что последние очертания берегов скрылись из глаз, и я потерял всякое представление о том, в какую сторону нам следует двигаться. В рубке был компас, но он не действовал, так как спирт из него был давно выпит. К тому же в палубе были пробоины еще со времен войны, когда катер был торпедным; вода сочилась в трюм, единственный матрос-моторист на берегу упился в хлам, и чтобы наш ковчег не потопил дождь, капитан приставил меня к помпе. Она, слава богу, качала исправно, движок усердно пыхтел всеми шестью цилиндрами, но я сам, подняв голову, мог видеть только серые кружки четырех иллюминаторов, забранных железными прутьями и слышать ровный ритмичный плеск воды о корабельные борта.

Потом там что-то переменилось; плеск сделался реже, сильнее, иллюминаторы посветлели, а катер стало так болтать из стороны в сторону, что мне приходилось то и дело хвататься руками за всевозможные железные выступы в его урчащем чреве. В «машину» не то спустился, не то свалился матрос-моторист; он еще толком не протрезвел, но уже вполне годился для слежения за помпой. Я выбрался на палубу и очутился в окружении водяных валов и провалов. Сваленная на корме кора пропиталась дождем; слабо закрепленные тючки съехали к левому борту; катер дал небольшой крен, и капитан так вел его по пенистым гребням, чтобы давление ветра уравновешивало наше маленькое суденышко. Густой ровный дождь сменился редкой порывистой моросью, воздух несколько просветлел, капитан высмотрел какие-то береговые ориентиры, взял точное направление, но ставить катер против ветра было рискованно; когда

это случалось, его нос сперва устремлялся в темный, вогнутый как линза, провал, а потом так глубоко зарывался в полутораметровую волну, что вода шумно обрушивалась на бак и, ударив в иллюминаторы капитанской рубки, прокатывалась по всей палубе до самой кормы. Бабки с мешками сидели в крошечном кубрике за рубкой, и сквозь верхние иллюминаторы я видел, как после каждой волны они поправляют свои белые, в мелкий черный горошек, платки, и крестят лбы бурыми заскорузлыми пальцами.

Я выбрал момент, когда очередной вал схлынул и, держась за леер, приоткрыл дверь рубки. Капитан спиной почуял мое присутствие, обернулся и, четко артикулируя, проорал сквозь усы и грохот налетающего шквала: бросай кору, утонем на х!.. Усы у него были густые, жесткие, похожие на маленькую бетонную плотину, так что из-под них я мог видеть только мокрую нижнюю губу, но и ее движения было довольно, чтобы я тут же захлопнул рубку и, ни на мгновение не отпуская леер, ухватившись второй рукой за фальшборт, двинулся по шаткой палубе в направлении кормы. Там среди обрывков мокрого брезента отыскался размочаленный канат; я складным ножом, который всегда носил в кожаном кармашке на брючном ремне, отрезал от него метра два, пропустил один конец в стальную ноздрю кормового клюза, второй закрепил вокруг ремня и только после этого стал перебрасывать через фальшборт тяжелые, осклизшие от воды, тючки. Волны дважды сбивали меня с ног; пиджак, брюки, башмаки разбухли, стесняя мои движения, но в пылу работы я, казалось, совершенно не замечал этих помех.

Я швырял кору в матовые хлопья пены, в темные как яшма провалы между гребнями, и изо всех легких орал навстречу ветру попурри из народно-каторжных баллад: славное море, священный Байкал!.. И за борт ее бросает!.. Бродяга, судьбу проклиная!.. В тесном кубрике бабки обметывали мелкими крестиками темные морщинистые лбы; матрос в трюме мотался по деревянным, скользким от масла и соляры, сланям; капитан в рубке чуткими движениями перебрасывал с борта на борт никелированный, украшенный черным эбонитовым набалдашником, румпель; я чувствовал себя лишь частью нашего маленького, борющегося за жизнь, мирка, мгновениями я полностью сливался, растворялся в нем, как в воде за бортом, и это было какое-то новое, неизведанное, но необыкновенно острое, захватывающее ощущение. Капитан вел катер галсами, отыскивая пологие провалы между водяными валами и по ним переводя наше суденышко с гребня на гребень. Я четко понимал, что стоит нам хоть на миг подставить волне борт, как катер сделает оверкиль, и наши шансы на спасение сведутся практически к нулю. Но капитан не зря служил на флоте и десантировался на берег при любой погоде; даже здесь, стоя на корме и следя за движениями катера, я чувствовал, что у румпеля стоит человек, знающий свое дело.

Когда вся кора оказалась за бортом, и палуба выровнялась, я спустился в трюм, где на полную мощность работал главный двигатель, разделся и развесил вокруг него свою насквозь промокшую одежду. Матрос-моторист отыскал для меня какой-то мятый, воняющий маслом и мазутом, комбинезон, я кое-как влез в него, а потом пробрался в капитанскую рубку, где оставался мой кейс, достал из него плоскую стальную фляжку со спиртом, и мы с капитаном стали пить прямо из нарезанного винтом горлышка, передавая фляжку друг другу и заедая каждый глоток сухими снетками из холщового мешочка, подвешенного к штурвальной стойке. Ветер дул ровно и сильно, и когда мы вползали на волну, катер так сильно кренился, что вода перехлестывала через фальшборт. Небо было какого-то мышиного цвета, без малейших световых проблесков, и где-то там, далеко впереди, сливалось с кипящим озером в сплошную, не разделенную линией горизонта, муть. Я спросил у капитана, как он ориентируется в этом «молоке», и он сказал, что знает этот ветер, и что если пройти так, как мы идем сейчас еще часов пять-шесть, то нас отнесет к небольшому мысу, где живут рыбаки, коптящие рыбу, и отряд озероведов из Северо-западной экспедиции, изучающей перспективы переброски вод северных рек в южном направлении. Я посмотрел на часы, засек четверть второго и опять отвинтил пробку

фляжки. Фляжка была восьмисотграммовая, сделанная на заказ, с «охотничьей сценой» – медведь в окружении лаек и стрелков: «Неравный бой» – на боку, и я понимал, на что намекает эта гравюра. Но нас было двое, и шансов на победу у заключенного в эту фляжку джинна было немного.

Шторм тоже был на нашей стороне; не знаю, как чувствовал себя капитан, но мои нервы были натянуты как струны, а все мышцы были в таком тонусе, словно ветер и волны били не по стальному корпусу катера, а по моему телу; я ощущал себя в полной власти расходившейся стихии и, как ни странно, не боялся, а, напротив, упивался этим состоянием. Мы пили и не пьянели, а словно сатанели от азарта борьбы. При этом капитан орал, что если я замечу, что он падает, то я сам должен буду прекратить пить, потому что один человек на корабле должен быть трезвый. Я впервые услышал о таком критерии трезвости, но он мне так понравился, что я тут же попросился за штурвал, чтобы на такой случай иметь хоть малейший навык управления кораблем. Капитан отступил от стойки, я встал на его место и, взявшись рукой за эбонитовый набалдашник, тут же ощутил, как ветер давит на выступающую над водой обшивку, пытаясь столкнуть наш катерок в провал между волнами. Я завидел пологую ложбинку слева по ходу, плавно перевел рычаг, катер встал под углом к ветру и, пробив носом пенный вал, перевалил на следующую волну. Капитан за моей спиной зычно прогудел что-то вроде «ништяк!», и мы опять выпили по глотку спирта и закусили мятыми солеными рыбками. Спирт обжигал, но не притуплял, а, напротив, взвинчивал нервы; так, говорят, действует кокаин.

Я потерял ощущение времени; впрочем, я давно подозревал, что «время как таковое», «чистое время» – фикция; что есть лишь чувства, которые фиксируют перемены в нашем окружении и соотносят их с каким-то регулярным циклом: перемещением Солнца, звезд, Луны. Но ничего этого за иллюминаторами рубки не наблюдалось; наше движение было как бег на месте; границей двух разнородных сред была оболочка моего тела: снаружи на нее действовал шторм; изнутри его давление уравновешивалось спиртом. Так водолазам по мере глубины погружения меняют состав дыхательной смеси. А потом вдруг справа от нас возникла невысокая, примерно как штакетник вокруг палисадника, волнистая стеночка: это был камыш, окружающий мыс, и нас снесло точно в фарватер, обозначенный облупленными буйками в виде небольших плавучих пирамидок; буйки были красные, и среди сплошной серой канители смотрелись как знамя революции, поднятое над мятежным «Потемкиным» и выкрашенное кармином прямо по черно-белому целлулоиду фильмового негатива. Камыш в фарватере глушил волну; ему помогало течение небольшой речки, впадающей в озеро как раз в этом месте. Мы почти вслепую ткнулись носом в просвет между членистыми камышовыми стеблями и вошли в тихую, подернутую рябью, бухточку в речном устье.

И тут капитана как-то сразу резко повело; сказалось шестичасовое напряжение, тем более, что он был, по-видимому, единственным человеком, реально осознававшим степень нашей близости к обетованным небесам. Я вспомнил преподанный им же критерий судовой трезвости и, почти на руках оттащив его в угол рубки, встал к румпелю и через медную горловинку рупора крикнул матросу в трюм, чтобы он сбавил обороты. Но тот, по-видимому, и сам уже понял, куда нас отнесло, и делал все, что положено и без моих указаний. Шум двигателя утих, и я стал подводить замедливший ход катер к мокрому дощатому молу, отходящему от набитого на сваи настила. К настилу со стороны берега пристроен был длинный сарай с шиферным козырьком, под которым укрывались от моросящего дождика двое то ли экспедиционников, то ли рыбаков в брезентовых плащах с остроконечными как у ку-клукс-клановцев капюшонами. В облупленное зеркальце рубки я увидел как матрос поднялся на палубу, услыхал его короткий приветственный окрик, и, подводя катер щекой к молу, уже видел, как по прогибающимся доскам к нам направляется один из встречающих. Матрос бросил ему швартовый канат, тот подхватил и стал «восьмеркой» обметывать его растрепанный конец вокруг двух железнодорожных костылей, вбитых в торец одной из свай. Матрос обернулся к кубрику, посмот-

рел сверху в иллюминатор и, усмотрев сквозь него какое-то движение, постучал по круглому стеклу костяшками пальцев. Бабки поняли, что катер как Ноев ковчег достиг какой-то тверди и, крестясь и причитая, стали по одной выползать на чисто вымытую волнами палубу.

Это был даже не поселочек, а что-то вроде промыслового становища; чуть выше устья стояла над пологим песчаным спуском бревенчатая, крытая ржавым железом, коптильня с двумя узкими, прорезанными в верхних венцах, щелями для выхода дыма; посреди каменистой перемычки, соединявшей мыс с берегом озера, стояла рубленая в «чашку» и крытая темной встопорщенной щепой изба; между избой и коптильней висели на кольях рваные, похожие на театральный занавес, рыбацкие сети. Избе на вид было лет сто; со стороны берегового леса стенка ее была подперта бревнами; окошки были кое-где заколочены кусками фанеры, чаще крышками от посылочных ящиков с размытыми адресами; кое-где вместо стекол торчали из темных рам клокастые ватные одеяла или углы старых, набухших от влаги, подушек. Ближе к лесу, там, где берег речушки вдруг круто забирал вверх, срублена была небольшая банька; от нее к воде спускались вырытые в глинистом склоне ступени, уложенные бурыми кирпичами. Палатки озероведов были поставлены на самом мысу среди гранитных валунов и тощих корявых березок; одна шатровая, похожая на цирк шапито, служила для камеральных работ, в другой, длинной как лагерный барак, жили.

Между палатками под шиферным, поставленным на четыре высоких сосновых столба, навесом, устроена была кухня и столовая: на гранитных, выложенных квадратом, валунах лежала печная чугунная плита с дырками и кольцами, в землю был вкопан сбитый из стесанных сосновых жердей стол, из таких же жердей сколочены были длинные лавки по обеим сторонам стола. На растянутых между столбами проволоках, на вбитых в столбы гвоздях висели ведра, кастрюли, холщовые мешочки с крупами и сухарями, и среди всего этого скарба темнел человеческий силуэт; человек стоял одной ногой на земле, второй опирался на лавку и, установив на колене короб гитары, играл «Чакону» Баха. Музыкант был в тельнике с длинными рукавами, голова его была обвязана черной повязкой, шею и плечи окружал плотный ореол комарья, но человек не прерывал игры и лишь порой встряхивал длинными, свисающими из-под повязки, волосами. На брезенте шатровой палатки светилось пятно света, и на его периферии по линялым складкам, заплатам и швам расползалась тень странного всадника: человек сидел на чем-то вроде крохотного пони и совершал круговые движения руками вокруг его угловатой головы. «Лошадка» издавала металлическое жужжание, а человек глухо бубнил в пространство перед собой: я «Омут»!.. я «Омут»!.. вызываю «Вихрь»!.. вызываю «Вихрь»!.. у Заболотного под мышкой огромный фурункул!.. у Заболотного под мышкой огромный фурункул!.. как меня слышите?.. прием!.. Но все его старания, похоже, были тщетны: «Вихрь» не отзывался.

Шквал сменился штилем, и на мыс со всех сторон стал наползать сырой, едкий как пар прачечной, туман. Земля, камни, лес, вода стали терять твердые очертания; перспектива сделалась как на японских гравюрах, где вещи и люди существуют сами по себе, не связанные ничем, кроме общего живописного пространства. «Горы и воды». «Цветы и птицы». Звучала «Чакона», гудел голос радиста, из-под крыши коптильни сочились млечные струйки дыма, сети на кольях темнели как театральная декорация, изображающая вздыбленное море, перед ними шеренгой шли бабки с мешками на согнутых горбами спинах, в отдалении выступал из лапчатой еловой стены сруб бани, и слева от него, в тумане просвечивали сквозь дырявый борт мангала рубиновые точки угольков. Дверь предбанника распахнулась; розовое тело с визгом скатилось по ступеням и с шумом плюхнулось в неподвижную, блестящую как ртуть, заводь. Следом за ним по ступенькам скатилось еще одно тело, потом еще, и вскоре вся заводь бурлила как нерестилище.

Я вспомнил, что когда мы швартовались, я заметил по ту сторону причала небольшой, но мощный катер рыбохраны, который, по-видимому, и доставил в баню каких-то областных шишек. Среди них наверняка могли встретиться знакомые лица, но сейчас мне это было почти

безразлично; пьян я не был, но весь мой организм находился на таком взводе, что я мог сгоряча наговорить черт-те чего как по поводу виденных вчера пожаров, так и насчет той же рыбохраны: рыбу ловили на нересте, перегораживая сетями мелкие протоки, глушили толом, от инспекторов откупались, львиная часть от каждой взятки шла «наверх» – обычная пирамида, разрушение которой мне надо было бы начинать с самого себя. С другой стороны мне страшно хотелось в баню; я был в грязной влажной робе, все тело трясло от сырости и спадающего напряжения, и все это вместе взятое значительно снижало мой обличительный пафос. К тому же заканчивались вторые сутки с момента, когда я сел в гидрач в качестве «начальника»; все это время жизнь вокруг меня менялась так странно и стремительно, что я порой переставал верить в реальность происходящего. Даже Метельников казался каким-то подмененным, и сейчас я жалел, что во время прогулки по берегу, не обратил внимания на то, отбрасывает ли он тень. Все дальнейшее тоже было как сон; я вел корабль в неведомом пространстве, нас снесло на мыс, где, как я знал, не так давно закончили работать археологи: они копали стоянку каменного века, извлекая из песчаной осыпи кремневые наконечники, рубила, скребки и осколки примитивной керамики. И посему я бы ничуть не удивился, если бы из редкого тумана над развешенными сетями вдруг выступила бровастая низколобая голова, посаженная на мощный волосатый торс. Буря как будто отнесла наш катер в некий параллельный поток времени, где реалии обычной жизни соединились на призрачном пятачке пространства по каким-то собственным законам вроде тех, что объединяют вещи на полотнах Сальвадора Дали, этого, на мой взгляд, гениального шулера, который только «косил» под психа, а на деле мыслил совершенно академическими категориями чуть ли не двухвековой давности.

Здесь же, на этом каменистом мыске все было абсолютно реально, и в то же время совершенно призрачно. Туман постепенно рассеивался, со всех сторон от воды поднимался холодок, а прояснившееся небо наливалось сиреневой тьмой так, словно вся вселенная приникла к огромному стеклянному, опоясавшему горизонт, куполу, чтобы осветить лучиками звезд то, что творится у нее под брюхом. Над елями показалась луна, и в ее свете пейзаж сделался графически четким. А события в этом странном сне наяву продолжали разворачиваться по нарастающей, но не плавно, а как бы дискретно; так память, обращаясь вспять, выхватывает из сплошного потока прошлого лишь отдельные куски: тот миг, когда она спускалась по лестнице, а ты поднимался навстречу, и вы глянули в глаза друг другу, и вдруг все стало так ясно, что она даже как будто отшатнулась в предчувствии грядущих перемен. Несколько секунд, а до и после что-то серое, вязкое, похожее на разведенный крахмал. Так было и здесь: вот я стою перед развешенными сетями, а вот я уже сижу в предбаннике, в простыне на мокрых плечах, рассказываю сидящему напротив «первому» о «деле Метельникова», и тот, хлопнув меня по плечу, говорит, не волнуйся, Анатоль, женим мы твоего монаха, возьми соточку! И по самый обрез наполняет водкой восьмигранную стопку.

Потом я плыл вверх по реке, по лунной дорожке среди лесных берегов. Я увидел шалаш над песчаным обрывом, и человека в мохнатой шкуре с факелом в руке бродящего по отмели и что-то собирающего в мелкой, по щиколотку, воде. Я пригляделся и увидел, что он выхватывает из реки раков; раки в его пальцах топорщились, шевелили клешнями и, прежде чем упасть в сплетенную из прутьев корзину, быстро трепетали членистыми мускулистыми брюшками. Я остановился, ухватился за нависшую над водой корягу и сквозь корни какое-то время наблюдал за ним. Где-то здесь была стоянка неолита; археологи ушли, но кто-то, по-видимому, решил в буквальном смысле «влезть в шкуру» неолитического человека: перед шалашом тлел сложенный из валунов очаг, на нем был водружен бесформенный, слепленный из глины, руками, без гончарного круга, котел, по ту сторону его сидел другой, освещенный тусклым багровым сиянием, бросал в пар над котлом раскоряченных раков, а когда раки кончились, положил на колени расщепленную на конце палку, воткнул в щель кремневый наконечник и стал плотно обматывать жилой место сочленения дерева и кремня.

Я отпустил корягу, перевернулся на спину, сделал глубокий вдох, раскинул руки, ноги, и течение медленно понесло меня под нависающими над обрывом корнями. Я был как падающий лист; в Японии есть школа единоборств, которая как раз и исходит из принципов такого движения, усиливающего боевой выпад импульсом стихии. Приближались звуки лагеря; в предбаннике звучали громкие, невпопад, голоса, звякала посуда; раскатистый храп рыбаков доносился из ветхой избы; в шатровой палатке пели «Под музыку Вивальди… Вивальди… Вивальди…» Я пробрался на катер, спустился в трюм, оделся в свою измятую, но уже сухую, одежду, перешел по шаткому трапику на причал и направился к палатке, на скатах которой четко вырисовывались тени людей, сидящих вокруг слабого и невидимого как на полотнах Рембрандта, источника света.

Я отыскал вход в палатку, отвернул полог и, пригнув голову, вошел вовнутрь. Гитарист, накануне репетировавший Баха под навесом кухни, сидел в центре палатки на крепком ящике цвета хаки и, глядя на закопченое стекло стоящей на полу керосиновой лампы, быстро бегал по грифу тонкими сильными пальцами. Слушатели с эмалированными кружками в руках сидели по кругу и согласно покачивались из стороны в сторону, а в темном углу перед полевой рацией, похожей на небольшого железного конька, сидела одна из тех бабок, что прибыли на нашем катере, и, держа перед собой миску с водой, что-то беззвучно нашептывала в нее. Потом она взяла кроличью лапку, обмакнула в воду и стала мягко поглаживать ей по боку и плечу молодого парня, лежащего на полосатом матраце. Парень был до пояса раздет, под мышкой у него виднелась огромная опухоль, и я понял, что это и есть тот самый Заболоцкий с фурункулом. Дело, по-видимому, было по-настоящему худо: парень стонал, лоб его блестел от пота, но старуха продолжала делать свое дело: кропила, шептала, проводила ладонью по воздуху над опухолью, – пока дыхание больного не сделалось ровным, и он не уснул.

Я не помню, как прошел остаток той ночи, но наутро небо было ясным, и мы погрузились на катер и часа за три по тихой воде дошли до райцентра, где я первым делом направился в химчистку, чтобы привести в порядок свой костюм, а затем зашел на почту и отправил Метельникову перевод на семьдесят три рубля девяносто копеек за якобы сданную на приемный пункт ивовую кору. Там же отбил телеграмму Насте «Задержался делам буду завтра вечерним целую Толя». Такие телеграммы у нас скапливались пачками; я сильно подозревал, что Настя просит меня о них под влиянием матери: весточка из какого-нибудь «медвежьего угла» была для нее чем-то вроде алиби насчет подозреваемых за мной «амуров». Моя должность в моей области представлялась ей чем-то вроде режиссерской в среде театральной, а режиссеры, известные «коты», и здесь, как объяснял мне Метельников, ничего не сделаешь: в самом характере работы с актером присутствует некая интимная составляющая, настоящий контакт часто происходит на уровне подсознательном, глубинном, репетиция тот же сеанс психоанализа, в этом смысле театр мало чем отличается от дурдома, где психи часто переносят свои навязчивые представления об утраченном вожделенном объекте на врача, с той лишь разницей, что мужчины видят в нем соперника, врага, а женщины – утраченного любовника или мужа.

Но у меня был все же несколько иной «объект», и если мне и грозил подобный «перенос» – «по смежности» – то разве что от лосихи или медведицы, которые, насколько мне известно, не страдают неврозами на почве сексуальных расстройств. Это я как-то раз и попытался растолковать теще на одном из семейных торжеств; она слушала, смеялась мелодичным грудным смехом, пила шампанское мелкими глотками, смотрела на гостей влажными от смеха глазами, хлопала меня по тыльной стороне ладони, а потом вдруг обернулась, взглянула на меня в упор и прошептала, облизывая кончиком языка ярко накрашенные губы: медведица, говорите, лосиха?.. Ну что ты мне гонишь?!. Это был первый и последний раз, когда она обратилась ко мне «на ты». Это было как маленький заговор: я знаю, что ты лжешь, и ты знаешь, что я это знаю, и ты знаешь, что я знаю, и пусть это останется между нами. На твоей совести – ложь, на моей – тихий обман во имя семейного спокойствия.

Теща была права; у меня была связь с гримершей из областного театра; она была моложе меня на три года, но уже успела побывать замужем, развестись, и теперь в одиночку растила сына и когда театр выезжал на гастроли, брала мальчика с собой. Их поселяли в отдельном номере, где Паша по утрам тупо перепиливал скрипку, потом раскладывал на гостиничном столике учебники – Винера вечерами, пока шел спектакль, гоняла его по темам, – а когда мама уходила на рынок или по магазинам, заваливался на неубранную постель с какой-нибудь книжкой из «Библиотеки приключений». При театре он был кем-то вроде «сына полка»: знал наизусть весь репертуар, был в курсе всех скверных актерских привычек, интриг, а в двух постановках даже сам выходил на подмостки: маленькая разбойница в «Снежной королеве» и нежный юный паж в «Много шуму из ничего». Мальчик был способный, но уже тронутый тем едва заметным богемным тлением, по которому опытный глаз выделяет в толпе комедиантов.

Впрочем, не только их; есть особая метка в лицах неизлечимых больных, затравленная волчья искра в глазах бывших зэков, шаткость в походке моряков; военному, даже переодетому в «гражданку», никогда не избавиться от маршевой «двухмерности» движений. Отцом Паши был актер, с Винерой они прожили чуть больше года, так что склонность к комедиантству, помноженную на астеническую взвинченность, мальчик получил больше по крови, нежели по воспитанию. В младенчестве это носило характер обезьянства; любимым Пашиным занятием было потихоньку пробраться в чью-нибудь уборную, сесть перед тройным зеркальным складнем и перемазаться гримом до совершенного неузнавания. Позже в ход пошли бороды, усы, парики, как-то раз Паша даже напялил на себя обноски с чучела в детском спектакле, прикрутил на спину что-то вроде горба и полдня просил на Невском проспекте милостыню; опаздывая на урок, забирался в раздевалку и перед карманным зеркальцем рисовал под глазами синяки, ссадины, чернил зубы, говоря, что их выбили в уличной драке, чем вгонял учителей в столбняк, а когда те тянули Пашу к директору или завучу, всерьез заявлял, что пробуется на роль Тома Сойера и таким способом «входит в будущий образ». В натуральном виде, без грима, был «чистый херувим» типа нестеровских отроков: слегка вьющиеся волосы соломенного цвета, вытянутое лицо, нос с легкой горбинкой и глубоко вырезанными ноздрями, матовый румянец на впалых плоских щеках, глаза насыщенно-синие как морская вода, брови кустиками как беличьи кисточки, губы слегка припухлые, на подбородке ямочка.

Впервые я увидел этого мальчика, когда ему еще не было трех лет. Тогда как раз и начался наш роман с Винерой. Вышло все почти случайно. Мы почему-то поссорились с Настей, я хлопнул дверью, сел в машину, покатил по городу и как-то случайно оказался перед театром, где Метельников по договору ставил какой-то спектакль: остросоциальную драму, построенную на конфликте ретрограда-директора и прогрессивного то ли зама, то ли главного инженера. В тот вечер был прогон, актеры были в костюмах, в гриме: были сцены в цехах, с участием рабочих – в первых рядах сидела публика: критики, коллеги, знакомые. Я прошел тихо, сел сбоку, а когда представление окончилось, остался на банкет. Говорили речи: кто-то хвалил за скупость, лаконизм, кто-то мягко выговаривал, причем за то же самое, кому-то нравилось, что массовые сцены на этом фоне «взрываются как митинги», другой считал это постановочным излишеством, «хованщиной», но в итоге все сошлись на том, что если весь спектакль «ужать» примерно на четверть часа, то все устаканится, и проблема встанет перед залом во всей своей остроте.

Я слушал и пил, заранее решив, что оставлю машину перед театром, возьму такси, и вернусь, возможно, вместе с Метельниковым, для прикрытия. Но все вышло не так. После критиков я вдруг завелся, встал, представился, и стал говорить, что мне, как человеку «со стороны», вся эта проблема представляется существующей только на подмостках, что в реальной жизни мне самому иногда случалось выступать в «прогрессивной роли», но никаких «моральных побед», как это было в спектакле, я не одерживал, напротив, я чувствовал себя полным идиотом, эдаким князем Мышкиным от лесной промышленности, и потому, при всех художе-

ственных достоинствах спектакля, считаю, что по сути он ложен и даже вреден, так как внушает зрителю глупые иллюзии насчет возможности какого-то «прогресса». И тут все вдруг стали шуметь, кричать, что театр то же самое производство, фабрика, конвейер, с теми же проблемами, и что если мы кого-то обманываем, то прежде всего самих себя; Метельников от этих речей помрачнел, замолк, и я понял, что если сейчас подкачусь к нему на предмет поездки к нам в качестве «примирителя», он скорее всего пошлет меня подальше.

Но про это я тоже должен был кому-то сказать, и соседка по столу пришлась здесь очень кстати. Застолье уже шло вовсю, над столом стоял гвалт, накурено было так, что люди казалось, вот-вот перестанут не только слышать, но и видеть друг друга. Я говорил соседке, что каждый творит свою маленькую ложь и знает об этом, но в системе тотального человеческого ханжества одна ложь обменивается на другую, что это как ассигнации, которые сами по себе не представляют никакой ценности, но являются лишь знаком, существующим для удобства обращения этих самых ценностей. Как и то вранье, которое мы видели нынче вечером. И при этом все делают вид, будто это имеет какой-то смысл – зачем? Этот вопрос в последнее время я часто задавал самому себе, и потому мое обращение к собеседнице тоже было фикцией; дело было не в словах, не в теме, а в самом голосе, который хоть и был частью всеобщего пьяного галдежа, но все же направлялся на конкретного человека. «Ложь» была «темой» в таком же смысле, в каком составленный из простейших геометрических фигур объект: натурщик, натюрморт – является основой для последующей живописи.

Я даже не мог бы сказать, слушала она меня или нет; от нее просто шла какая-то волна, вбиравшая и гасившая входящие в нее звуки. А грим? спросила она, это тоже ложь: усы, бороды, синяки, морщины, белила? Брови, накладки, плеши, румяна, подхватил я, человеческое лицо всегда лжет, и вы лишь надеваете одну личину поверх другой. В нашем диалоге начали проскакивать «шекспировские» нотки; и здесь пошла уже другая «игра», вечная игра между мужчиной и женщиной с заранее известным, но всегда непредсказуемым финалом. По натуре я не ходок, не люблю шуток типа: всех баб не поимеешь, но стремиться к этому надо! – но и не однолюб, не аскет; нормальный среднестатистический представитель Homo sapiens мужского пола, которому по его социальному на тот момент статусу – чуть выше среднего, – просто «по жизни» суждено время от времени вступать во внебрачные половые связи. Это – диагноз. Сухой как сюжет из уголовной хроники. Но репортер делает из него газетную колонку, а Достоевский – роман. Все зависит от человека: кто-то берет количеством – Дон Гуан по частичной аналогии с моей специальностью ассоциируется у меня с «энтомологом»; – кто-то всю жизнь пестует какой-нибудь хрупкий черенок человеческого познания, но в итоге взращивает целый вертоград новой отрасли с сетью НИИ и строгой системой академических званий.

Но я отвлекся; хотел лишь сказать, что всегда запоминал самый первый «взгляд», это мгновенное «да? нет?» проскакивающее как разряд между никелированными шарами лейденских банок на школьном уроке физики и так неповторимо изменяющее «мгновенную конфигурацию тонкого эфира», что все дальнейшее, последущее делается так же неизбежно и непоправимо как сход лавины после того как тронулся первый камешек. И все сразу становится так легко, и все же чуточку страшно; так чувствуешь себя перед тем как первый раз броситься в озеро после долгой зимы. Мы говорили, потом вышли во дворик, потом я вспомнил, что в машине лежит пачка «БТ», полез за ней, но тут пошел дождь, и мы стали курить в салоне, глядя как стекают струи по лобовому стеклу. Я опустил боковое стекло, а когда стало свежо, включил двигатель, обогреватель, выжал сцепление, и машина покатила вдоль тротуара, шелестя покрышками по свежим лужам.

Дальнейшие события того вечера можно представить как в виде сентиментального киноромана с «двумя тонко чувствующими, но не шибко преуспевшими в жизни героями» – гримерша не прима; я тоже был в каком-то внутреннем разладе, – так и в виде фотосерии из порнографического журнала «Плейбой»: оба варианта были схожи лишь в том, что одина-

ково вгоняли в видеосхему поток живой жизни. Мы тихо, дворами и переулками, доехали до высокого темного дома с прорезанной узкими окнами башенкой над углом, с переломленной, частично покрытой черепицей, крышей, с цоколем из грубо обработанного гранита, поднялись то ли на четвертый, то ли на пятый этаж, вошли в длинный сумрачный коридор, обвешанный каким-то смутно различимыми предметами коммунального быта, точнее: бытия, – Винера прошла вперед, а я снял ботинки, и в носках, скользя по натертому паркету, добрался до полуоткрытой двери в большую, разделенную платяным шкафом, комнату.

Одним торцом шкаф упирался в узкий простенок, и в мутном, падающем из обоих окон, свете я увидел, что комната разделена на что-то вроде «рабочего кабинета», точнее, студии со швейной машинкой и мольбертом, и на «детскую» с деревянной кроваткой, шкафчиком для белья, журнальным столиком для игр и двумя гимнастическими кольцами, свисающими с ввинченных в потолок крючьев. Кроватка была завалена скомканным постельным бельем, на ковре перед ней блестела двумя нитками восьмерка игрушечной железной дороги, и когда Винера, проходя к окну, чтобы прикрыть форточку, случайно зацепила босой ногой тумблер, на игрушечном семафоре вспыхнула крошечная лампочка, что-то тихонько зажужжало, щелкнуло, и из туннеля, построенного из деревянных кубиков и арок, показался и побежал по путям черный паровозик с трубой в виде узкой вороночки и двумя пасажирскими вагончиками. Это была еще одна «мгновенная конфигурация», визуальный ребус, который, разумеется, не имел никакого «второго плана», скрытого смысла, но, трактованный в стиле «игры в бисер», мог представлять собой некий пространственный коллаж на тему русской классики, конкретно, толстовской «Анны Карениной», где в том или ином виде были представлены почти все компоненты основного сюжета: была героиня, по другую сторону шкафа на широкой тахте спал ее сын, по ковру со среднерусским пейзажем бежал паровозик, я же объединял в одном лице как госчиновника, так и типичного соблазнителя с коробкой конфет и шампанским, купленным в ночном гостиничном баре.

При этом я все еще шептал, что поднялся только на минутку, максимум на четверть часа, выпить шампанского и ехать домой, и она в ответ шептала: да-да, конечно, – сдвигая в углы рабочего стола эскизы грима, выполненные цветными мелками, и теребя за плечико уснувшего в ее постели ребенка. Мальчик не просыпался, куксился, мог вот-вот начать хныкать, я на руках перенес его в деревянную кроватку, а когда вернулся, Винера стояла спиной и, судя по движениям локтей, застегивала пуговицы на легком шелковом халатике. Это выглядело совершенно обычно, и в то же время так интимно, что у меня к горлу мгновенно подкатил комок, а в низу живота налилась и запульсировала темная, подвижная как ртуть, тяжесть. Впрочем, это можно было трактовать и как намек совершенно противоположный: я устала, а вам Толя, пора домой. Но я знал, что это не так; знал, что останусь, что потом мне придется что-то плести жене, Метельникову – он видел, как мы уходили, и я видел, что он это видит, – и я даже знал, как обеспечить себе стопроцентное алиби: знакомое милицейское начальство могло выдать мне любую справку, от присутствия в качестве понятого, до задержания на дороге за вождение в пьяном виде с последующей ночевкой в вытрезвителе.

Я выбрал второй вариант, при том, что Настя, зная мои связи в этих кругах – баня, пиво, охота, – могла сильно усомниться в его правдоподобии. Но все это было уже потом, наутро, а тогда я сидел на скрипучем стуле с круглым сиденьем и выгнутыми из толстых ивовых веток ножками, упирался в твердую спинку крестовиной подтяжек, галстук мой был распущен, верхняя пуговица рубашки расстегнута, в правой руке я держал бокал шампанского, а левой поглаживал ладонь Винеры, удерживавшей в пальцах тлеющую сигарету. Я полностью растворился в этом мгновении, и в то же время очень четко представлял эту сцену со стороны: два силуэта в свете свисающей над столом лампы: алого китайского шестигранника, расписанного иероглифами и похожего на коробчатый бумажный змей. По столу были разбросаны мелки, карандаши, на стене висела гитара с бантом вокруг грифа. «Гейша, – подумал я, – такой, навер-

ное, должна быть гейша: рисовать, писать стихи, играть на музыкальном инструменте». Я даже хотел спросить, не пишет ли она стихов, но удержался. Слова были уже не нужны; они уже сделали свое дело.

Я, правда, еще сказал, что будет лучше, если я уже не сяду за руль, а лягу здесь, на полу, рядом с тахтой. Зачем на полу? сказала она, ложитесь со мной. Я взглянул на настенные часы над ее головой: большие, в деревянном, похожем на скворечник, футляре, с тусклым медным маятником, бесшумно, как золотая рыба, плававшем за овальным стеклышком. Стрелка остановилась на половине второго, часы ударили: бом-м!.. – Винера встала, вышла в коридор, а я разделся и лег в еще не остывшую после ребенка постель. Слушал шаги, плеск воды; звуки то затихали, то возникали вновь, затем шаги стали быстро приближаться, дверь открылась, китайский фонарь погас, щелкнул шпингалет, и в темноте как летучая мышь мелькнула тень брошенного на спинку стула халата. Утром, еще в сумерках, я увидел перед постелью мальчика в ночной рубашке. Он стоял босыми ногами на полу и держал в руках свои тапочки. Что с тобой, Паша? спросила Винера, приподнявшись на локте и прикрывая грудь углом одеяла. Пусть дядины тапочки стоят у моей кровати, а мои тапочки стоят рядом с твоими, сказал мальчик. Ребенок мыслил категориями симпатической магии: вслед за перемещением предмета должно было последовать перемещение его владельца.

Тапочки и в самом деле были мои: культурные традиции семьи предписывали всегда иметь при себе собственную домашнюю обувь. А раз так, то и магическое действо над тапочками могло заключать в себе добавочную, контагиозную, силу. Впрочем, Паша, по-видимому, не первый раз упражнялся в этом интуитивном шаманстве; он ушел к себе, задремал, а часа через полтора, когда за окнами было уже светло, и Винера встала и вышла, чтобы умыться и поставить чайник, мальчик опять подошел к тахте и, глядя на меня, отчетливо произнес: я знаю, что мужчины с мамой делают. Впрочем, я с самого начала не особенно обольщался насчет винериного целомудрия; она еще ночью, после первого, быстрого и бурного, оргазма, томно прошетала мне в ухо: три недели без мужчины, думала, с ума сойду.

Так началась наша связь, беспорядочная как во времени, так и в пространстве. Я уезжал, возвращался, театр мотался по области, по стране, я подгонял свои командировки к гастрольному графику, по несколько раз смотрел одни и те же спектакли, мы ужинали в пригостиничных или привокзальных ресторанчиках с теплым кислым шампанским и ядовитым как купорос коньяком, ночевали в номенклатурном номере – у меня всегда была бронь, – а под утро она по лестницам и сумрачным коридорам пробиралась к себе мимо дремлющих в креслах консьержек. В театре все было известно; слух дошел и до бывшего мужа, вполне заурядного алкоголика, подрабатывавшего в массовках и лишь иногда, по старому знакомству, получавшему несколько слов или реплику в «эпизоде». Начался мелкий телефонный шантаж; подонок как-то вызнал, что я вступаю в партию, идет кандидатский стаж, и скандал с разводом может изрядно пошатнуть не только мою дальнейшую карьеру, но и нынешнее положение. Иногда, пьяный, он даже напевал в трубку строчки из каких-нибудь оперетток, типа: н-да, госпон-да, н-га ссе эст манэра – гнуся, картавя, грассируя – был-таки «у мерзавца талантик», – и наутро по почте я отправлял ему двадцать пять рублей. Лично мы не встречались: он боялся, я – брезговал. Иногда мне случалось видеть его лицо на экране, пару раз крупно, но чаще мельком, на втором-третьем плане где-нибудь в канифольно-ресторанном чаду: смазливый, глаза светлые, наглые, улыбка кота, безмолвно намекающая на «нечто эдакое»; он был, по моей классификации: «энтомолог», специалист по легким как укол, связям, с соответствующей инъекцией, в результате одной из которых в винериной матке и завязался крошечный узелок, разросшийся в младенца.

Как-то Винера оставила на столе пачку документов; я не удержался, полистал: брачного штампа в ее паспорте не было, но в метриках Паши все же значилось имя отца: Хотов Виктор Исаевич – порой мелькавшее в последних строках титров под «шапкой»: «Так же снимались».

И каждый раз этот промельк отзывался во мне легким уколом; мне казалось, что какой-то частью Винера все еще принадлежит ему, и принадлежит не так как мне, уже вобравшему ее в свой внутренний мир, а как принадлежит фанатику-филокартисту одна из открыток в его коллекции. Впрочем, в этом смысле они с Винерой были схожи; в одну из первых ночей она призналась мне, что если бы я тогда устроился на полу, она сама сползла бы ко мне, потому что «никак не может представить, как это уснуть в комнате с мужчиной и не потрахаться».

Меня коробило; я смотрел в ее темные от подступающей страсти глаза, изображал на лице понимающую улыбочку, мы оба прислушивались к затихающему за шкафом детскому сопенью, Винера облизывала язычком вишневые губки, вставала, распахивала халатик и, поглаживая ладонями вспухшие пупырчатые соски, шептала: еще будем? И мне сразу представлялось множество обнаженных мужчин, толпившихся в ее комнате; их лица скрывались в пятнах теней от китайского фонаря; я видел только половые члены, они свисали, стояли; каждый ждал своей очереди, и Винера блуждала среди них как грибник, прикасаясь пальцами к туго набухшим головкам. Эта сторона жизни, казалось, поглощала ее целиком; впрочем, были еще картинки, в основном тушью, пером: причудливые композиции из черных завитков в стиле модерн, где, однако, тоже без особого напряжения, как в игре «Найди охотника», можно было высмотреть абрис полового члена, входящего в растянутую вагину. Она как-то призналась мне, что еще в детстве любовалась мужскими гениталиями на классических скульптурах: Геракл, Диоскуры перед Манежем, конеборцы на Аничковом мосту, – и впервые отдалась в пятнадцать лет из чистого любопытства. И тут же, без всякого стеснения, с подробностями, описала мне свой первый опыт: с вожатым, в пионерском лагере, в его комнате после отбоя.

Эти истории, а она, казалось, ни о чем другом не могла ни думать, и ни говорить, страшно терзали и в то же время возбуждали меня; я, с подачи Метельникова, читал «Венеру в мехах» Захер-Мазоха, и потому истории моей, живой, Винеры – татарское имя, личико кукольное, гладкое, овал, с беличьими стрелками от уголков глаз – представлялись мне воплощенными вариациями на классическую тему. Разница была лишь в том, что героиня Мазоха действовала бичом, но то была литература, а здесь – жизнь, где язык по воздействию вполне заменял столь грубое пыточное орудие. И если бы кто-нибудь вздумал спросить меня, какое чувство я испытываю к своей подруге, я бы затруднился ответить на этот вопрос одним словом. Я думаю, что в данном случае было бы проще составить некое апофатическое определение, сродное по своей филологической структуре со схоластическим определением Бога как величины или понятия, не имеющего никаких определенных и тем самым как бы ограничивающих его Всемогущество, атрибутов. Крайний предел на этом логическом пути приводил к запрету на само имя, ибо оно, даже в виде написания или звука, уже сообщало Изначальному и Всеобщему некую «особенность» и тем самым ставило его в один ряд с вполне заурядными тварями, такими как лошадь или овца. Одно я мог сказать точно: это – не любовь. Точнее: «не-любовь», или «любовь» со знаком «-», как «минус два» в математике или «отрицательное обаяние» среди актеров.

Но как сильно выраженное отрицательное обаяние порой действует сильнее самого что ни есть «херувима» – кто-то, помнится, сетовал, что нельзя издать указ, запрещающий Корзуну играть мерзавцев: «порок в его исполнении неотразим, добродетель рядом с ним неубедительна, хуже того: фальшива» – так и эта «не-любовь»: я мотался вслед за театром по всем нашим захолустьям, сочинял какие-то срочные производственные надобности, писал липовые отчеты, врал Насте, и все ради того, чтобы оказаться между двумя пахнущими хлоркой простынями и дождаться, когда Винера выйдет из ванной – в моем номере ванная была всегда, – сбросит халат, ляжет рядом, протянет руку и щелкнет выключателем ночника на журнальном столике. Сладострастие, амок, нечто, налетающее извне и порабощающее не только психику, но изменяющее сам химизм обмена веществ в организме; так крыса с электродом, вживленным в «центр удовольствий», жмет на кнопку контакта до тех пор, пока не подыхает от голода. Что-то родственное наркомании, алкоголизму, «игровому синдрому».

При этом наши отношения никуда не двигались; Винера знала, что у меня есть семья, но никогда не заговаривала о разводе; я подозревал, что она встречается не только со мной – бывший «муж» не намекал, ему наша связь была на руку, но в театре шептались, тихо, по-суфлерски, но я улавливал, – но не устраивал на этот счет никаких «дознаний». Мальчик привык ко мне; соседи Винеры тоже с какого-то времени стали воспринимать меня как «жильца», и только в театре мы еще сохраняли нечто вроде «инкогнито»; встречая Винеру после спектакля или репетиции я никогда не въезжал в театральный двор, а обычно парковал машину на противоположной стороне улицы и ждал свою подругу либо в кафе либо в салоне, повернув зеркальце под таким углом, чтобы видеть как мигает светофор над пешеходным переходом. Впрочем, это не столько для того, чтобы не портить винерину «репутацию» – на это ей, как я понял, было глубоко плевать, – сколько для Метельникова, для того, чтобы, заходя к нам, он мог без особого смущения встречаться глазами с моей женой. Тем более, что на гастролях, в глухих углах, где актеры играли в холодных поселковых клубах, и где не было надобности в присутствии режиссера, мы с Винерой держались вполне свободно; здесь, в этой полубродячей труппе, у меня была своя «роль»: «состоятельного промышленника», «образованного купца», взявшего на содержание хорошенькую актрису.

В этой роли я чувствовал себя вполне комфортно, естественно; формально я был чиновник, номенклатурный винтик, но что-то подсказывало, что если бы, скажем, я действовал на своем поприще сто или полтораста лет назад, я был бы именно «промышленником» или «купцом» в духе Паратова из «Бесприданницы» или Лопахина из «Вишневого сада». Иногда, во время ресторанных застолий – мы с Винерой далеко не всегда ужинали вдвоем, – мне даже в шутку предлагали «попробовать»; я, естественно, отмахивался, говоря, что мне вполне хватает лицедейства в своих «рабочих делах»: случалось лебезить, но чаще – рявкать, а в облавах, рейдах даже порой угрожающе наводить ружейные стволы или тянуться к кобуре служебного «ТТ». И это, как объяснил я своему тогдашнему «визави» – настоящий адреналин, в отличие от всей театральной бутафории, начиная с искусственных чувств и кончая приклеенными бородами и восковыми лысинами: в одном спектакле Винера, по рекомендации того же Метельникова, так густо гримировала актера, игравшего Ленина, что тот становился жутко похож на лежащий в мавзолее прообраз.

Ленинская «модель социализма» ассоциировалась у Метельникова с «хрустальным гробом», а раз так, говорил он, то и автор этой «концепции» на сцене должен быть ходячим покойником. Впрочем, эта «фига» была упрятана в такие глубокие складки метельниковского «кармана», что я узнал о ней лишь со слов автора. С Метельниковым у нас было как-то не просто; оставаясь вдвоем с Винерой я порой очень четко, почти до галлюцинации, ощущал его незримое присутствие – в такие мгновения мне хотелось, чтобы этого человека вообще не существовало на свете. Да, он часто оставался не у дел, сидел в простое, впадал в депрессии, временами просто находился в «пограничном состоянии», потом вдруг что-то менялось, он подписывал какой-нибудь договор, начинал что-то ставить, снимать, собирал вокруг себя «кружок единомышленников», человек пять-шесть, не больше; иногда после репетиций заявлялся к нам – мы по старой привычке полуночничали, – часто не один, с очередной «примой», которую он называл не иначе как «идеальный смысл моего существования», – и спектакли у него были исключительно об этом, о «смысле жизни», точнее «бытия в мире»; «Войну и мир» он трактовал как «человеческую меру божьих деяний на земле» – планку пониже он считал недостойной, «салоном», «приложением к буфету».

В глубине души я не то, что завидовал ему, нет, это было более сложное, и как бы не совсем «личное» чувство – я ничего не хотел от него (Метельников был нищ как дервиш); я не хотел бы даже поменяться с ним не «местами», а «ролями», – просто наше близкое и как бы «параллельное» бытие порой представлялось мне верхом нелепицы, абсурдом; этот человек был моим «двойником», алтер его, он проживал жизнь, которую, как мне казалось, должен

был проживать я. Иногда, впрочем, мне казалось, что и Метельников так воспринимает наши отношения; я был почти уверен в том, что он тайно влюблен в Настю, не исключал и того, что между ними «что-то было», краткое, почти мгновенное – ночь, час, минута, – и что эта «минута» была как грозовой разряд, отбросивший их друг от друга на всю оставшуюся жизнь. Упала молния в ручей вода не стала горячей а что ручей до дна пронзен сквозь шелест струй не слышит он иного не было пути и я прощу и ты прости. Фет. Так что теперь Метельникову ничего не оставалось как тасовать в уме «идеальные смыслы», чаще бессловесные, похожие на манекены, «символы», вроде карточных дам.

Но банк в этой незримой игре держала Настя, и у нее всегда был на руках «тузовый покер»: дом, муж, дочь, деньги – что еще нужно женщине для счастья? Я как-то случайно услышал, как они шептались на кухне: а… бы мне… это… ать… нет но… бы…ает… огда я… я не жалею я… до сих пор… аже сейчас… Я громко закашлялся, стоя в прихожей, и шепот умолк. Я стянул сапоги, размотал портянки и вошел как был, в диагоналевом галифе, в куртке-энцефалитке с плотными резинками на запястьях – было начало мая, и я объезжал места, где можно было запросто поймать клеща, – и они не то, чтобы отшатнулись, но как бы отстранились друг от друга при моем появлении; лучше бы я застал их в постели: стандартное положение с ограниченным, как в метро, набором комбинаций: выход – нет выхода. И третий вариант: безвыходным положением нам представляется такое, очевидный выход из которого нас не устраивает.

Через неделю мне предстояла командировка в «озерную глушь»; Метельников напросился в попутчики, а когда мы оказались в купе, развернул потертую на сгибах карту области и ткнул тупым концом шариковой ручки в маленький, с крапивное семя, кружочек среди частых, косых как дождь, болотных штрихов. Поселочек назывался Болтино; по областной переписи в нем значилось тридцать девять изб и около сотни жителей: рыбаки, плотники, старухи, потерявшие на войне мужей и промышлявшие на жизнь сезонным сбором клюквы и прочей лесной ягоды. У одной из таких старушек Метельников и заквартировал. С книгами, машинкой и картонной коробкой «Беломорканала», который он, впрочем, курил только за пределами палисада; водку баба Нюра пила – «мерзавчик» после субботней бани, – но «зелье» на дух не переносила. Надо было как-то развязать этот «тройной узел»; сказать Насте, что у меня уже давно есть постоянная пассия, Метельникову не позволял некий негласный «кодекс чести», так что оставалось лишь романтично «удалиться в пустыню» в поисках нового, аскетического, варианта «идеального смысла». Не мог человек жить «просто так», что-то точило его изнутри; какая-то духовная разновидность опухоли, которая, по мнению некоторых онкологов, относится к разряду причин, предрасполагающих к злокачественному перерождению тканей человеческого организма.

Не исключаю, что он писал Насте «до востребования»: эпистолярный жанр и идеализм неразделимы – но если бы я и ревновал Метельникова, то не к своей жене, а к его способности «жить в духе», смотреть «поверх голов», не обращая внимания на то, что творится у него под ногами. Даже там, в поселке, столкнувшись с… ну, мягко говоря, женщиной не совсем «строгих правил» – не то, да ладно, – он возвел ее чуть ли не на пьедестал: мадонна, богородица, Магдалина – трактуя порочность со знаком «плюс», как некую особую душевную тонкость, пластику, врожденную как дар божий способность сострадать любой человеческой слабости, мужской похоти в том числе. В этом смысле метельниковская подруга мало чем отличалась от Винеры, но эта хоть откровенно признавалась в своих «блядских выходках», в любви к «групповухе» в том числе, та же накручивала какую-то «психологию»: травму «первого сексуального контакта» – ее изнасиловал таксист, – артистизм «натуры», постоянной ищущей «свежих впечатлений».

В общем, так или иначе, здесь срабатывал некий странный «принцип смежности по женскому типу», по которому нас с Метельниковым можно было «трактовать» как «ипостаси»

или «аватары» некоего, общего нам обоим, пра-существа, реальность которого столь же гипотетична как существование в прошлом некоего антропоида, раздвоившегося в ходе эволюции на биг-фута – олмасты, «снежного человека» – и голое прямоходячее двуногое: нас с вами. В этом случае аналогию мог вполне продолжить Корзун, живший инстинктом, но совершенно, по мнению Метельникова, не умевший думать. Что, впрочем, ничуть не помешало ему сыграть молодого ученого, то ли генетика, то ли физика-ядерщика, лауреата какой-то серьезной, чуть ли не государственной, премии в лирической киномелодраме с классическим «любовным треугольником» и банальным, как граненый стакан, финалом: Корзун разрывался между личной жизнью и наукой, а она уходила к «другому», кажется, начальнику отдела.

Премьера проходила в Доме кино; на сцене поставили столик, китайскую вазу с красными гвоздиками, зал был почти полон, члены съемочной группы по очереди подходили к микрофону, режиссер мялся, мямлил – я заметил, что кинорежиссеры вообще по большей части говорят плохо, в отличие от режиссеров театральных, – Корзун молчал, пил минеральную воду, водил по залу темными, влажными как у лошади, глазами; потом свет погас, начался фильм, и где-то через четверть часа народ с крайних мест стал понемногу перебираться в ресторан: дальняя дверь приоткрылась, оттуда потянуло дымком, в зал стали доноситься голоса – мы с Метельниковым оставили Настю и присоединились: начали с бара, потом перешли за столик, захотелось с кем-нибудь пообщаться, высказаться. В зале было шумно, дымно; в дыму мелькали лица, только что виденные на экране; в углу, молча, в окружении каких-то прихлебателей, сидел Корзун. Прихлебатели, трое парней и коротко стриженая девица в очках, галдели как сороки, Корзун кивал то ли в знак согласия, то ли просто так; глядя на него Метельников вполголоса пробормотал: никто так не похож на думающего человека как человек, имеющий этот вид. Да, сказал я, к нему пришла слава, но в этой славе есть что-то пошлое.

Часть вторая

В это время мы начали не то, чтобы расходиться, но как бы обособляться. Я все чаще чувствовал себя чем-то вроде, ну, скажем, «винтика» (шестерни, цепи: возм. вар.), т. е. части какого-то механизма, которая выполняет возложенную на нее функцию, совершенно не задумываясь о смысле работы агрегата в целом. В «Мастере и Маргарите» оставшийся от чиновника костюм заседает в его кресле и ставит подписи на документах; в юности я думал, что это только литература, теперь я сам порой почти физически, кожей, ощущал себя не живым человеком, а таким вот костюмом, шпалой, ступенькой; не «субъектом права», создающим какие-то юрические нормы на вверенном ему «пространстве антропосферы», а «объектом» воздействия каких-то чуждых сил. На объединенных конференциях, посвященных «проблемам защиты окружающей среды» – от кого? От нас самих: какое ханжество! – мне приходилось встречаться с коллегами-смежниками: гидрологами, зоологами, ботаниками, почвоведами, слушать их доклады, где все было правильно, но звучало как-то пусто, глухо: так врачебный консилиум, собравшийся у постели высокопоставленного, но обреченного больного, лишь ведет протокол необратимого телесного разложения и выдает публике сводку о температуре, давлении и частоте пульса пациента. После заседаний пили, и в голос и невпопад говорили в принципе одно и то же: мы исследуем, проводим мониторинги, даем рекомендации, но нас никто не слушает, никому это все не нужно, и мы сами никому не нужны. Это была правда, но и она звучала как бы сама по себе, существовала вне «потока жизни», потому что наутро все опять собирались в конференц-зале и вновь начинали делать вид, будто их доклады, сводки, графики могут, скажем, остановить какой-нибудь очередной «проект века».

Никогда не забуду одного гидролога, эдакого патлатого, напористого, не «ученого», а, скорее «хиппи-переростка» в полинялом джинсовом комбинезоне и черном шелковом шейном платке, мелом вычерчивавшем на доске графики наводнений и доказывавшем, что Пушкин, кроме всего прочего, был еще и гениальным гидрологом, описавшим не рядовой осенний паводок, а гидроудар, происходящий раз в столетие и омывающий невскую дельту подобно тому, как это происходит в океанической приливно-отливной зоне. Это был не «доклад» в чинном бюрократически-академическом стиле; между кафедрой и доской разыгрывалось целое шаманское действо: мел крошился в пальцах, картинки на доске менялись с мультипликационной скоростью: дельта, каналы, уровни подъема воды, – все, вплоть до мгновенных меловых эскизов набережных и прилегающих к ним кварталов; набросав очередную картинку, докладчик встряхивал волосами, подбегал к фанерной кафедре, обхватывал ее длинными, вспухшими на концах, пальцами и, нависая над первым рядом, цитировал: Нева всю ночь рвалася к морю против бури не одолев их буйной дури – в этот момент он сам представлялся мне этой «Невой», напирающей на монолитную как бетон, дурь зала.

Так племенные шаманы вызывают дождь или, напротив, прекращают его. В некоторых племенах это действо воспринимают настолько серьезно, что шамана, не справившегося со своей задачей, попросту убивают как саботажника и «врага народа». Этот тоже кричал так, словно строительство дамбы было для него вопросом жизни и смерти, и от этого всем сидящим в зале становилось неловко; все знали, что от этой стройки кормится много мерзавцев и что для ее оправдания придумывают черт знает что, вплоть до придания ей функции волнореза для защиты города от искусственного, вызванного ядерным взрывом, цунами. И потому прекращение либо завершение этой «стройки века» было невыгодно не только бесчисленным жуликам, для которых она тоже была «вопросом жизни или смерти» – кого-то, говорят, даже подвели под «вышку» за хищение «в особо крупных…», – но и всякого рода экспертам: как противникам, так и защитникам. Любитель Пушкина просто жил и мыслил другими, более масштабными, категориями.

Через пару лет я встретил его в каком-то лесхозе, в том же джинсовом комбинезоне, черном шейном платке, обросшего волнистой бородой, отбиравшего лиственницу для постройки дракара. Я представился, мы разговорились, он сказал, что «наука была только одним из средств», но, видно, не самым эффективным, и что теперь он собирает команду, чтобы на дракаре пройти путь «из варяг в греки» и посвятить свой поход «защите Невской губы от современного варварства». Я помог ему отобрать нужные стволы – в этом он понимал мало, – но когда сказал, что могу провести их рубку как «санитарную», будущий «викинг» посуровел: «закон один для всех» – и показал мне бумагу, под которой уже стояли все нужные подписи, кроме моей. Я подмахнул тут же, на бревне, и мы расстались. Еще через два года, я увидел дракар в телерепортаже: команда, человек двенадцать, махала длинными тяжелыми веслами, капитан в том же, вылинявшем до простынной белизны, комбинезоне, возвышался над бушпритом, выполненном в виде деревянного русалочьего торса; за его спиной раздувался парус: серый квадрат с символом «инь-янь» в центре. Плавание, как сказал перед отходом капитан, было призвано пропагандировать «всеобщую гармонию». Глядя на него, я даже пожалел, что мы тогда расстались на такой сухой ноте; если бы не это, я, быть может, тоже сидел бы сейчас на скамье с веслом в руках.

Впрочем, как я позже выяснил, дальше Выборга они не ушли; на путь «из варяг в греки» нужны был деньги, и для заработка команда подрядилась сниматься в исторических боевиках: борта прикрыли круглыми щитами, гребцы оделись в шкуры, а на парусе вместо «инь-янь» намалевали какое-то страшилище. Корзуна тоже приглашали поучаствовать, но он отказался; он вообще после «Федора Иоанновича» стал очень разборчив и, приходя к нам, тоже говорил что-то вроде того, что «жизнь имеет смысл лишь тогда, когда перед человеком стоит нечто такое, за что ее можно отдать». Настя его не понимала, но и не спорила; она опять была беременна, и ей было вредно волноваться. Люсе было уже семь лет, и будущий ребенок больше всего, как мне кажется, интересовал именно ее; мы не сразу сказали ей, почему у мамы «такой большой животик», а когда все же, по совету Метельникова, переключившегося на «детскую психологию», «раскрыли тайну», вопросы посыпались как конфетти из лопнувшей хлопушки: как он туда попал? что он там кушает? Мы в ответ несли какой-то нескладный взрослый бред и проклинали день, когда последовали метельниковскому совету.

Я говорил, что Метельников хоть и начитался всяких книжек, но как был по жизни лопух, так лопухом и остался. Припомнил ему историю с его затворничеством, с очередным «идеальным смыслом» – они-таки с Раей тогда обвенчались, причем не без моего косвенного участия: на каком-то областном совещании я напомнил «первому», и он «решил»; была деревенская церковь, поп с кадилом, фата, набор соответствующих заклинаний, а через месяц Рая сбежала; Метельников кинулся за ней в город, нашел и наткнулся на прохладное как пиво из погреба: извини, это была ошибка. Хук правой. Аут. Я думал, его придется выносить и откачивать. Нет, Метельников встал сам. Крест снял, оставил только цепочку. Разве что в «скит» за вещами и рукописями мы с ним поехали вместе, но и это, скорее, не потому, что ему было «психологически тяжело» – женщин вокруг Метельникова в силу профессии было много, но «до конца» он сходился редко и разрывы, как всякий крайний идеалист, переживал болезненно, – а потому, что «случилась оказия»: я летел на «гидраче» смотреть не до конца потушенный торфяник, и на обратном пути попросил пилота сесть на воду напротив поселка.

После этого «православного романа» Метельников и зарылся в «психологию»: Фрейд, Юнг и даже Ломброзо – «Гениальность и помешательство». Перед ним было нечто вроде наглядного пособия: дневник его подруги Раи, откровенный до какого-то лексико-физиологического, почти патанатомического, предела. Как-то я застал его за этим увлекательным чтением; встал ночью в туалет, увидел свет на кухне, вошел: Метельников сидел за столом спиной к двери, и по левую руку от него лежала стопка машинописных листов, а по правую – фотокопия очерка Фрейда о Леонардо да Винчи. Метельников потом дал мне его прочесть, и не

просто дал, а настоял: я не понял, мало того, мне стало как-то неловко; так бывает, когда во сне оказываешься голым. Неловкость была как бы многомерная: за себя, за Фрейда, за Леонардо да Винчи и немного за самого Метельникова. Но я как-то отмолчался, а Корзун, тоже попавший под «образовательную программу» – «актер должен знать свой «инструментарий» (Метельников) – сперва расхохотался, а потом понес: я хоть от «Моны Лизы» и не забалдел, она за стеклом, за спиной толпа, по бокам два «ажана», какая там «загадочная улыбка»! где? – но это – Корзун потряс над столом пачкой жестких фотолистков – полная фигня! Метельников посуровел лицом, вышел, и Корзун уже вслед ему, почти неслышно, обозвал его «импотентом и гомиком». Это было, конечно, преувеличение в стиле Корзуна, материалиста и циника, но то, что у Метельникова с женщинами все как-то не просто, было очевидно.

На меня в последние два месяца настиной беременности тоже напал какой-то блуд, возникший не вследствие гиперпохоти – Винеры мне вполне хватало, – а как-бы из любопытства, из стремления к «новым ощущениям». «Романы» были коротенькие и «случ-айные», попросту «случки». С ночной кондукторшей из трампарка: я подвозил ее к дому в «спальном» районе, и она отдалась мне на на заднем сиденье машины на тихом темном пустыре; с женой крановщика, севшего в тюрьму за драку; с медсестрой в областном центре (ресторанное знакомство). У меня были сильные подозрения насчет винериной верности, и эти «ходки» были чем-то вроде «компенсации»; в душе от них оставался какой-то налет, вроде порохового нагара в ружейном стволе после выстрела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.